

Ольгерд Бахаревич

# Собаки Европы



национальная литературная премия  
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

финалист  
2019



Самое время!

Ольгерд Бахаревич

**Собаки Европы**

Литературная премия «Большая книга»

2017

## **Бахаревич О.**

Собаки Европы / О. Бахаревич — Литературная премия  
«Большая книга», 2017 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1871-3

Кроме нескольких писательских премий, Ольгерд Бахаревич получил за «Собак Европы» одну совершенно необычную награду – специально для него учреждённую Читательскую премию, которую благодарные поклонники вручили ему за то, что он «поднял современную белорусскую литературу на совершенно новый уровень». Этот уровень заведомо подразумевает наднациональность, движение поверх языковых барьеров. И счастливо двуязычный автор, словно желая закрепить занятую высоту, заново написал свой роман, сделав его достоянием более широкого читательского круга – русскоязычного. К слову, так всегда поступал его великий предшественник и земляк Василь Быков. Что мы имеем: причудливый узел из шести историй – здесь вступают в странные алхимические реакции города и языки, люди и сюжеты, стихи и травмы, обрывки цитат и выдуманных воспоминаний. «Собаки Европы» Ольгерда Бахаревича – роман о человеческом и национальном одиночестве, об иллюзиях – о государстве, которому не нужно прошлое и которое уверено, что в его силах отменить будущее, о диктатуре слова, окраине империи и её европейской тоске.

ISBN 978-5-9691-1871-3

© Бахаревич О., 2017  
© Литературная премия «Большая  
книга», 2017

# Содержание

I. Мы лёгкие, как бумага	6
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Ольгерд Бахаревич Собаки Европы

Белорусскоязычная версия романа «Собаки Европы» вышла в 2017 году в издательстве «Логвінаў»

© Бахаревич Ольгерд, 2019

© «Время», 2019

\* \* \*

Ю.

*In the nightmare of the dark  
All the dogs of Europe bark,  
And the living nations wait,  
Each sequestered in its hate;*

*Intellectual disgrace  
Stares from every human face,  
And the seas of pity lie  
Locked and frozen in each eye.*

*Follow, poet, follow right  
To the bottom of the night...*

**W. H. Auden. In Memory of W. B. Yeats**

*...В темноте кошмарной той*

*Лают все наперебой  
Псы Европы. А народ,  
Полон ненависти, ждёт  
Расширения границ.*

*Тупость плялится из лиц,  
Море жалости в глазах  
Заперто навек во льдах.*

*Так ступай туда, поэт,  
Там ступай, где гаснет свет...*

**У. Х. Оден. Памяти Йейтса**

## I. Мы лёгкие, как бумага

### 1.

Как же мне надоел ваш белорусский язык, кто бы знал.

И кто бы знал, с каким наслаждением я пишу это. Надоел. Опостылел.

Ос-то-чер-тел.

Опротивел.

Достал.

Брысь, моя обрюзгшая мова, брысь. Ты вдоволь натешилась. Тобой не заработаешь, не убьёшь, не наиграешься, тебя уже не забудешь. Будто незнакомая баба в привокзальном тумане, похитительница оставленных на минутку детей, однажды ты появилась из ниоткуда, взяла меня за руку и повела в заплёванный подземный переход, полный тусклых витрин, озябших голубей и продавцов лотереек, – а я всё оглядывался туда, где остались стоять чемоданы: надёжные, начинённые будущим, уже ничьи. Ты разлучила меня с родными, это тебе благодаря мне привиделся однажды какой-то особый, странный народ, прозрачный, неуловимый, на самом-то деле – не существующий. Год за годом мы ходили с тобой по свету, ночевали в разных убогих местах, каких-то мухо-молочных деревеньках, библиотеках, заброшенных замках, на подозрительных постоянных дворах – где придётся; ты покупала мне дешёвые китайские игрушки и кормила, пока я не вырос, ты учила меня говорить тихо, а думать быстро, днём ты заставляла меня клянчить на улицах мелочь, а ночью обещала мне царство, и вот куда ты в конце концов меня привела –

в эту тёмную,

словно задымлённую,

съёмную

однокомнатную квартиру,

в доме с мемориальной доской,

в городе М.,

во времена всеобщего помрачения.

И ваш русский язык меня тоже достал. О-кон-ча-тель-но. Так приелся, что мочи больше нет. Кто бы знал, какую оскомину он успел мне набить за последние сорок лет. Что им ни скажешь, этим *языкомъ*, всё уже было, всё откликается тысячей глупых эхо и вонью давно остывших букв. Готовые конструкции, чугунное литьё, язык-труба, положенная поперёк наших жизней. Ты всегда чего-то от меня хотел, мой русский язычок. Ещё в животе у мамы, когда я и человеком ещё не был, а так, слепленным чучелком, – ты уже настойчиво ко мне стучался, читал мне морали, душил своими ватно-марлевыми повязками, заражал меня страхом. Язык, который всегда приходит будто с обыском, язык, который всегда имеет право. Брысь, русский, брысь, жестяной язык жэков и пажеских корпусов, язык большой и липкой литературы, голос миллионов маленьких, свирепчатых в своей ежедневной злобе людей.

А английский? Он достал не меньше. То, что вы называете английским, всего лишь раздутое, как опухоль, резиновое сердце, которое натужно качает миллиарды слов, неживое сердце, на которое светит неумолимая лампа. Холодное люминесцентное свечение. Язык-фастфуд, от английского повсюду пятна, будто весь наш мир – всего лишь куча салфеток на чьём-то столе. Английский – язык на трансжирах и искусственных добавках. О, он умеет подмазать!.. Как же много людей думает, что знает английский, и считает, что этого им вполне хватит для счастья. Наивные дураки. И как много мы могли бы сказать друг другу, если бы отказались от этого

вашего инглиша, если бы крикнули раз и навсегда своё «нет» этой отвратительной оргии взаимопонимания.

Испанский? Астматический кашель убийцы, какого-либо честного монстра Че. Смех мясника-торедора. Немецкий? Горькая редька, которая когда-то вообразила себя гением и сверхчеловеком, а теперь всячески выпячивается, чтобы снова казаться нормальной. Французский? Недолущенное письмо сверху, невзрачный философский жаргон внутри. Польский? Высокомерие вторичных поэтов, от которого слова аж трещат, брызжут, лопаются, как колбаски на сковороде...

«Что это вы там всё пишете?» – он поднимает глаза от телефона и недовольно скрипит стулом.

«Пишу», – вяло оправдываюсь я, прикрывая ладонью серые листы.

«Пипишу... – передразнивает он. – Напиисали уже на три листа. Дайте сюда».

Он решительно вытягивает бумажки из-под моих рук. Лицо его кривится, будто он сейчас заплачет.

«Что это? Что это, я вас спрашиваю? Ну ёж вашу не скажу, ну что это такое? Ну за что мне вот это всё, а? Вы глухой? Или больной? Я вам что сказал? Напишите, при каких обстоятельствах вы познакомились с... А вы что пишете? Брысь, брысь, какие-то колбаски, чучелки... Блин, да я не понимаю ни слова, тут не разобрать ваще ни хрена!»

«Давно не писал от руки...»

Он грубо, с наслаждением мнёт мои листки, и мне становится жаль написанного. Даже больше, чем себя. Я люблю бумагу. Она меня успокаивает. Мне душно, страшно и смешно одновременно. Он сминает бумагу в комочек и бросает куда-то за мою спину – но я всё равно вздрагиваю и отворачиваюсь, будто он метил мне в лицо.

«От руки! От руки, блядь, он не писал! Да тут что от руки, что от ноги! Тема не та! Тема! Понятно? Мне факты нужны. А это бред какой-то. Я же вам русским языком сказал...»

Он обхватывает голову руками и закрывает глаза. Государев муж принимает за меня муку смертную. Государев муж в отчаянии. Государев муж молчит. Государев муж карает меня тишиной своего душевного кабинета. Проходит минута, а может, и две, и я начинаю слышать, чем живёт это удивительное здание, в котором на каждом этаже по дюжине государевых мужей. За стеной нервный женский хохот, где-то далеко наверху шумит кран и заходится дрель – видимо, кого-то там выводят на чистую водопроводную воду и сверлят глазами. Наверное, если бы я сейчас тихонько поднялся и выскользнул в коридор, мой государев муж ничего бы и не заметил. И вдруг у него булькает в животе. Я сразу же чувствую к нему симпатию – будто в брюхе под пиджаком у него сидит какой-то другой он, маленький, не государев, а вполне себе обычный муж, человек, со всеми своими привычками-пестричками, прыщиками, ручками-ножками, кучками-колючками.

Может, у него даже кошка дома есть.

А у кошки мячик.

В какое-то мгновение мне кажется, что всё это и правда можно было бы решить просто и легко: сейчас я тихо выйду отсюда и никому ничего не скажу, а он откроет глаза, улыбнётся и вычеркнет меня из этих его протоколов, и пойдёт на обед, и полезет в телефон, как будто ничего не было, и забудет меня, а я забуду его, и мы больше никогда не встретимся.

И как только я начинаю верить в то, что это возможно, его чрево утихает, он приходит в себя и сердито впивается в меня своими глазами:

«Послушайте меня внимательно, Олег Олегович. Повторять больше не буду. Погиб человек, а это не шуточки. Нам известно, что вы имеете к этому делу самое прямое отношение. Поэтому я вам и сказал: возьмите бумагу и напишите, чётко и ясно, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с...»

Он копается в бумагах:

«Вот. С Козловичем Денисом, Бундасом Станиславом, Кашкан Натальей. Вы понимаете, о чём я? Олег Олегович? Может, напомнить вам, а? Что именно произошло? А, напомнить?»

Я ничего не отвечаю. Имена мне и правда ничего не говорят. Они чужие. Я никогда не называл их так.

«Хорошо, я напомним... – он на ощупь достаёт какую-то зловещую папку. – Вот. Козлович Денис Валерьевич, вы же с ним знакомы, правда? Здесь, на фотографии, он трошки не в форме, но узнать можно. Любите смотреть на трупаков, а, Олег Олегович? И книжки читать любите... Лю-ю-бите, я зна-а-ю... А здесь у нас и книжка, и фишка, и трупишка...»

Я отворачиваюсь. Он доволен, он думает, что я уже почти готов. Ещё немного поднажать, и из меня потечёт сок. Из глаз, из пальцев, на бумагу, на его лицо, кислый сок вины, из которого он, винодел, сделает славный напиток – и справедливость засядет за свой роскошный банкет, будет пировать, пировать, бля, ведь мы же все любим справедливость. Краем глаза я, конечно, посмотрел на фото. Не мог не взглянуть, я же человек информационной эпохи, как и он, мы уже не можем просто отвернуться, отвернуться и не вернуться, лишних картинок, букв, звуков больше не существует, не существует чужих дел и тайн, нам всюду надо сунуть свой нос – иначе мы не уснём. Мы весь день только и делаем, что читаем. Поэтому я украдкой взглянул на снимок – и он заметил, что я взглянул, заметил, не мог не заметить.

Хитроглазый, могучий государев муж следит за моей реакцией. Откуда ему знать, что я эйдетик – что мне достаточно бросить совсем короткий взгляд на что-то, чтобы это что-то перескочило в моё сознание и закрепилось там навсегда. Лучше, конечно, чтобы это что-то было буквами на бумаге или на экране – а не мёртвым голым парнем, которого я совсем недавно искушал несуществующими сокровищами. Козлик, Козлик, что же ты наделал. Давай договоримся хотя бы сейчас, что это была просто игра. Вставай, изгладь себя с этого асфальта, с этого снимка, из моей памяти, давай договоримся, что мы никогда не были знакомы. Тогда и этот, по ту сторону стола, исчезнет. Растает в воздухе строгий муж государев, – и мы все пойдём домой. Можно, мы уже все пойдём домой?

«Я, конечно, иностранными языками не увлекаюсь, – задумчиво говорит он, пряча фото в папку. – Но даже я, блин, могу сказать: у него на коже написано что-то не по-русски. Ножиком нацарапано. Ножик-то мы нашли... А вот что там за текст... Хрен разберёшь. Это не английский, не немецкий, не французский... Мы, ясен перец, покажем знающим людям, но пока что расшифровать не получается. Видите, Олег Олегович, я от вас ничего не скрываю, я вам как родному... А вы?»

И ещё один лист бумаги. Он ложится передо мной аккуратно, словно мне нужно подписать какой-то договор и от одного моего росчерка зависит, будет ли нам с ним профит, нам и нашему удивительному предприятию, у которого пока что нет конкурентов.

«Интересно, да? – он снова впивается мне в глаза. – Я это сам переписал. От руки. Прямо с кожи этого Козловича. И не жалею. Может, скажете мне, что это? Поможете нам? Что здесь написано? Вы же умный, языками владеете. Владеете же?»

«Кто кем владеет, это ещё вопрос...»

«Что вы там бормочете? Какой допрос? Просто беседуем. Вот, полюбуйтесь».

То, что я вижу, заставляет меня вздрогнуть. Он нетерпеливо перегибается через стол, смотрит то на этот короткий текст, то на меня. Конечно, я знаю, что написано на том листе бумаги. Бальбута на самом деле простая – достаточно иметь немного фантазии, быть хотя бы чуточку поэтом. И разумеется, усвоить корневую систему, но это легко. Корневая система – звучит, как на приеме у дантиста. Тридцать два зуба – сто тридцать слов. А вот у неандертальца зубов было сорок четыре.

«Как чижей у Хармса», – говорю я.

«Что вы сказали?»

«Да так, ничего».

Цифры, цифры, цифры. Цифры против слов. Я всё продумал. Корневая система против карательной.

Как же мне хочется писать. Всё объяснить, во всём оправдаться. Рассказать кому-то, да так, чтобы с самого начала. Ведь иначе никто не поймёт. А этот болван забрал бумагу.

Я уже не отворачиваюсь. Тупо смотрю на подсунутый мне текст. На бумаге слова выглядят солидно. Будто это не я их придумал. Будто я здесь ни при чём. Смешно будет, если они доберутся до правды. Переписано, конечно, неумело, с ошибками, – а может, и оригинал был такой, Козлик любил пропускать буквы, все молодые болеют дисграфией, теперь вообще все дислектики, а виновата она, глобальная сеть, это она отменила законы письма – вычеркнула правописание вместе с этикой из списка умений и навыков. И эмпатию вычеркнула.

Во что же ты играл со мной, Козлик?

«Да какие там языки, – я пытаюсь взять себя в руки. – Вы меня с кем-то путаете, я не полиглот».

Он не верит.

«Да ну? А мне говорили...»

Я совсем забыл, что кроме Козлика есть и другие. Каштанка. Буня. Неужели и они сидели вот так, в душном кабинете, и отворачивались, и делали вид, что не имеют никакого отношения к тому, что всё-таки взяло и произошло.

«Ну, может... Нет, не знаю. На что-то похоже, но на что... Нет, не могу сказать. Может, это баскский. Но я им не владею. Только слышал, что это очень трудный язык. Не знаю. Да я вообще в школе немецкий учил!»

Последние слова звучат почти истерично. И всё же я чувствую гордость. Потому что всё всерьёз. Наконец-то меня и моё произведение кто-то воспринимает всерьёз. Пусть это всего лишь маленький человек в душном кабинете.

И тогда он вдруг начинает вслух читать то, что написано на листе – этим своим деревянным голосом, ставя ударения так, будто хочет меня унижить, он читает, будто грубо срыгает одежду с какого-то беззащитного существа, и тело этого существа постепенно проступает сквозь мрак его идиотизма, трудноузнаваемое, но ещё живое тело. А он мучает, терзает своим поганым языком, слово за словом тянет. И смотрит на меня злорадно. Государев муж смотрит на меня, будто читает сейчас со злых складок на моём лбу, а не с листа серой бумаги. Искалеченные им слова гремят у меня в ушах. Записка, которую оставил Козлик, совсем короткая, но это бездарное чтение быстро доводит меня до бешенства.

Это нужно читать совсем не так, надо нараспев, мягко, это же музыка, не обязательно знать значения слов, чтобы их правильно произнести, у вас же нет слуха! – хочется мне крикнуть ему в лицо.

Но я сдерживаюсь.

Прижмурившись, государев муж долго смотрит на меня, а потом складывает всё в папку.

«Не хотите вы нам помогать, Олег Олегович. А придётся. Есть свидетели. Которые, согласно их показаниям, неоднократно... Короче, которые видели вас с Козловичем, Кашкан и этим, как его... Бундасом Станиславом. Что-то же вас связывало. Да ещё как связывало».

«Ничего особенного. Просто знакомые».

«Знакомые... Да уж. Слишком знакомые. Вас часто видели вместе. В самых разных местах. А ещё... Ещё эти трое неоднократно приходили к вам домой. То есть в незаконно снимаемое вами помещение... Чем вы там занимались?»

«Ничем. Языки учили».

«А говорите, не полиглот, только немецкий... Что же вы всё врётё, а? Я же вас насквозь вижу. Что за языки?»

«Разные...»

«Какие?»

«Это не важно».

«То есть сиделись и учили? И больше ничего? Ничем больше не занимались? Может, вы языками не в том смысле занимались? А? Язык – слово неоднозначное».

«Нет. Мы говорили – и всё».

«На каком языке?»

«Которого не существует».

«Но вы на нём говорили?»

«Да».

«Значит, он существует?»

«Нет. То есть, конечно, да, но только... Никто о нём не знает».

«Так он существует? Да или нет?»

«Нет».

«Ясно. Замечательно. Действительно, чего это я к вам прицепился? Всё же нормально. Это я просто какой-то подозрительный. А вы невинная овечка, жертва полицейского государства. Сорокалетний неженатый мужчина приглашает к себе домой двух молодых людей и одну несовершеннолетнюю, говорит с ними на языке, которого, блядь, не существует, а потом один из парней ножиком режет себе на коже какие-то слова и голый выбрасывается из окна. Прекрасно. Вопросов нет. Никакого криминала. Обычное дело, тут и думать нечего. Простое, как мычание. Наверное, надо извиниться перед вами и отпустить на все четыре стороны. Чтоб вы пошли домой и дальше говорить на несуществующих языках, водить к себе новые партии несовершеннолетних и учить их писать на коже ножиком. От руки».

«Я не учил... ножиком. Понимаете... Мы говорили. Это искусственный язык. Я его придумал».

«Зачем?»

Я отвожу глаза. Я растерян, как ребёнок. Я боюсь таких скоростей, у меня тогда ладони становятся, как из бумаги. Поэтому я не нахожу ничего лучшего, как только пробормотать с масляной улыбкой:

«В смысле?»

«Я спрашиваю: зачем?»

К этому вопросу я и правда не был готов. Наверное, я даже побледнел. Нахмурившись, недоумённо выставив вперёд брови, он смотрел на меня так, будто только что поймал меня на лжи. Я ожидал, что сейчас придётся прочитать ему лекцию об эсперанто и других конлангах, рассказать, что я не единственный в мире такой урод, интересующийся искусственными языками. И вскользь намекнуть, что «искусственность языка» в данном случае – термин некорректный, надо говорить именно о *constructed languages*. Искусственность – это мёртвое состояние, иллюзия. А нас было четверо живых – без всяких иллюзий. Почему-то я надеялся, что понять всё это будет под силу его юридическому, сладострастно-бюрократическому умишку – мелкой умочке государевой, мозжечку, в котором нет места ни фантазии, ни красоте. Но какие-то же книжки он читал. Есть же кошка у него дома! И мячик у кошки есть! Он же не тупой. Простое, как мычание, – это же не каждый муж в этом государевом доме так завернуть сможет. Да, я не испытывал к нему ненависти. Только что мы говорили, худо-бедно, но говорили, куда бы это всё ни привело, и я старался понять его, а он меня. И тут это беспощадное, нелепое, такое обидное «зачем?»

А и правда – зачем? Люди придумывают конланги, чтобы осчастливить других людей. Чтобы дать шанс людям на взаимопонимание. Или чтобы отомстить богу. Или ради интеллектуального развлечения – чтобы решить художественную задачу, головоломку. Заполнить пустые клеточки вечерком, чтобы всё сошлось и можно было спокойно пойти пить чай и думать

о вечном. О том, как заработать денег и остаться живым. А ещё люди создают языки, чтобы знать, что у них, языков, внутри.

Но зачем всё это было мне?..

«Дайте мне бумагу, – попросил я дрожащим голосом. – Пожалуйста. Я боюсь говорить, мне надо писать».

«Нет, – он покачал головой. – Снова вы мне про колбаски начнёте, про чемоданы с будущим. Сделаем так. Есть у нас здесь один кабинет... Он пока что пустой. После ремонта. Я дам вам диктофон и закрою там на часок или два. А вы возьмите и всё расскажите. Всё, как есть. Представьте, что пишете. И начинайте говорить. Не забывая о том, что ваша задача – ответить на все мои вопросы. А дальше всё будет зависеть только от вас. И никаких красавостей, договорились?»

Я киваю. Вот как оно вышло. Стоило ему заговорить вот так, деловито и спокойно, и теперь он для меня как родной. Мне даже хочется руку ему пожать – или обнять.

Всю жизнь я мечтаю говорить так, будто я пишу. Я слышал, что за эти виды деятельности отвечают разные половины мозга. Но проблема в том, что всё слышимое мне всегда кажется ложью. Я знаю, что невозможное возможно. А иначе и жить незачем.

Он провёл меня в пустой кабинет, где не было ничего, кроме стола и стула, и включил машинку.

Я назвал своё имя и не без труда вспомнил, какой сегодня день.

«Никакой литературщины! Только факты, имена и даты», – строго напомнил он, закрывая за собой дверь.

«Да-да, конечно, понял», – поспешно замахал я руками. Мне хотелось, чтобы он как можно скорее ушёл.

В дверях повернулся ключ. В зарешёченное окно заглянуло солнце и разложило на столе свою доску для китайской игры. Теперь я был один, сидел и не знал, с чего начать. Машинка на столе записывала моё дыхание, стук сердца, далёкие звуки дрелей и кранов, дробь пальцев. Несколько минут я молча смотрел на неё – и на какой-то момент мне показалось, что я уже всё сказал. Вся история уже там, в этой дьявольской коробке. Кто-то с той стороны дёрнул ручку двери – и раздражённо потопал обратно по коридору. Я подтянул стул поближе к столу, дышать становилось всё труднее, я не мог выдать больше ни слова. И тут я заметил нитку. Её кончик торчал из приоткрытого ящика пустого стола. Одному богу известно, как она туда попала, эта синяя нитка, зацепившаяся за гвоздик в деревянном ящике. Осторожно, стараясь не порвать неуловимый, тонкий синий хвостик, я освободил её, вытащил и намотал на указательный палец. А потом размотал. И намотал снова. Она была длиной в ладонь.

Игра меня захватила. Я уже не думал о словах. Я играл со своей подружкой-ниткой, а кто-то другой, кому надоело на нас смотреть, покашлял и начал говорить. Вполуха я прислушивался к его болтовне. В какие-то мгновения мне хотелось прервать его и поправить, но нитка была важнее. Впрочем, с самого начала этот кто-то выбрал не тот тон, не те слова, иногда он бесстыдно врал и выставлял себя гораздо умнее, чем есть. Его послушать, так всё очень просто. Как в книжках. Но надо дать ему выговориться.

Послушать только, что он несёт... Только бездарь начинает рассказ с кофе. Кофе... Мол, видите, какой я богемный, романтический, европейский, какой я кофейный, ароматный, крепкий орешек, без кофе я никуда, без кофе я калека, ни начать, ни кончить. Кофе...

Но, если разобраться, так оно и было.

## 2.

Однажды я сварил себе кофе, сел за стол и придумал свой язык.

Придумав, я откинулся на спинку стула и неторопливо огляделся.

В пепельнице скрючились пять окурков. Безымянный цветок на подоконнике задумался о Blut und Boden. В моём тихом, неинтересном дворе было уже темно, в доме напротив давно включили свет и завесили окна. Как в примерочных кабинках. Голые люди за занавесками примеряли на себя друг друга: давит? Не давит? Нормально... Сойдёт для сельской местности, как говорили мои городские родители.

Ноутбук тихо мурлыкал в тишине квартиры, освещая моё лицо.

Серое лицо человека, который придумал свой язык.

На какой-то момент я увидел себя как бы со стороны. Будто я сижу у костра, и вокруг лес, и я знаю только три слова, и мне хватает.

В такие мгновения, когда ты сидишь перед включённым ноутбуком в тёмной квартире и смотришь в окно, иногда может показаться, что всё на свете придумано тобой. Что именно ты только что настучал на клавишах этот удивительный мир, который живёт своей жизнью. Опасное ощущение. И как же больно бывает, когда понимаешь, что ты тут вообще ни при чём. И действительно, вокруг не было ничего, к чему я был бы причастен. Всё – от крыши над головой до наимизернейшей микросхемки, от уличных фонарей до колёсика зажигалки – было придумано, сделано, построено, покрашено и названо другими. И люди за занавесками не собирались становиться ко мне в очередь. Об их намерениях я вообще ничего не знал. Как и они о моих. Обычно в моём распоряжении было только время. Пустые клетки, в которые нужно себя вписать. Клеток мало, а тебя много. Поэтому надо идти на всяческие ухищрения. Мучить себя и других.

На этот раз, однако, вышло иначе.

С того момента, как я сел за стол с чашкой кофе, прошло два часа. Казалось, что вокруг ничего не изменилось, кроме освещения. Я остался прежним. И мир был такой же, как два часа назад. Такой же, и всё же совсем другой. Там, за окном, ходили люди, и каждый из них пользовался чужим языком, а у меня был свой. Сам по себе этот факт ничего не решал – и всё же наполнял меня странной радостью. Будто меня признали виновным в преступлении, на которое я никогда бы не решился.

Я чувствовал усталость. Величественную усталость бога, весёлую усталость творца. Вдруг я почувствовал, что голоден, пошёл на кухню, везде включая свет, достал из холодильника кусок колбасы и начал жадно жевать, запивая дешёвым вином прямо из пакета. За стеной залаял пёс, зазвенели ключи, там расклеили рот телевизору и он сразу во всём признался. Я нажал кнопку электрического чайника, старый чёрный советский счётчик у дверей затрещал, колёсико завертелось, как пластинка, с которой сейчас полётится то ли вальс, то ли джаз, то ли марш. Что-то, что давно уже не в моде. Неожиданно мне стало страшно, что файл мог пропасть – я бросился обратно к столу, проверил: он был на месте, придуманный мной язык светил мне в лицо, как луна. Я аккуратно скопировал файл на флэшку и спрятал её в надёжном месте. А потом выключил ноутбук, открыл окно, выбросил окурки. Скоро должна была прийти Верочка. Но ни она, ни соседи, никто, никто во всем мире не должен был узнать, что сегодня вечером

я сварил себе кофе,

сел за стол и

придумал...

Я назвал его бальбута. Одному богу известно почему.

А богом был я.

Лингвоконструированием я начал увлекаться еще в детстве.

Помню, мы с приятелями вырезали из бумаги фигурки людей, раскрашивали их и играли на полу в государства: воевали, мирились, торговали, прирастали землями – ковровыми Сибирями, горными хребтами диванов и другими колониальными владениями. Надо было обзаве-

стись как можно большим количеством народа: из-под наших ножниц на пол сыпались солдаты, крестьяне, чиновники, священники, моряки, купцы. Больше всего, конечно, мы любили делать солдат: придумывали им обмундирование и оружие, знаки различия, чины и даже характеры – для самых героических. Игру эту выдумал я – и мгновенно подсадил на неё остальных, мы могли ползать по полу часами, перемещая наши войска и поселенцев, строя города и постоянно ведя перестрелки и сражения: тыщ, тыщ, тыдыщ. Тысячи фигурок были подвластны нашим приказам. Нам было лет по двенадцать-тринадцать, эпоха компьютерных игр ещё не наступила, но мы получали от нашей забавы такой кайф, которого не получишь от современных стрелялок, аркад и стратегий. Мы играли после школы у меня дома, сделанный нами мир нужно было убрать до прихода родителей с работы, иначе сворачиваться приходилось в спешке, под ногами у взрослых, и можно было в суете забыть, какие пределы установлены на сегодняшний день в нашем мире. Иногда взрослые приходили раньше и всё же заставляли нас за этим групповым помрачением. Сначала они не обращали внимания, что делается у них под ногами, но со временем наша игра стала их настораживать. Видно, существовали какие-то неизвестные нам родительские совещания, где они обсуждали, что с нами не так. Однажды отец одного из приятелей, встретив как-то на улице нашу компанию (мы как раз шли ко мне с полными карманами фигурок), остановил нас и с какой-то добродушной яростью в глазах сказал, глядя в глаза не кому-то иному, а именно мне – и ухватив меня за руку выше локтя:

«Слышь? Вы ж здоровые ребята! Что вы хернёй занимаетесь? Шли бы уже девок тискать... Или набухайтесь возьмите. Или там, не знаю, лбы себе поразбивайте. Что вы всё по полу ползаете, как малые?»

«Папа, иди куда шёл», – пробормотал мой приятель. Мы стояли и стыдливо лыбились, не зная, что сказать. Он был Папа. С правом наказывать или миловать, с плевками вместо глаз, пролетарскими кулаками, с пенисом, перегаром, принципами. А мы были никто, подростки с бумажными игрушками в карманах школьных пиджачков.

«А ты отцу рот не затыкай! Будешь с ним и дальше ползать, не мужик из тебя получится, а хуй бумажный!»

Он сжал мою руку ещё сильнее. Он был выпивши. Он считал, что мои родители обходятся со мной недостаточно сурово. Но что он мог сделать? Только отпустить меня, залезть к сыну в карман пиджачка и вытрясти из него целый народ, солдат, странствующих монахов, полководцев, купцов, кузнецов – вытрясти просто на асфальт, на который кого-то недавно стошнило свежей зловонной весной, кого-то большого, кто плыл теперь по небу и у кого мы уже тринадцатый год путались под ногами.

Он растоптал фигурки, буквально вмесив их в лужу, этот всемогущий отец, настоящий Бог, не бумажный, на асфальте теперь была грязная каша из фантазий его сына, и он имел полное право заставить своего отпрыска стать теперь на колени и слизать её. Я смотрел на этого отца, как загнипнотизированный. Такая власть меня восхищала. Он заметил мой взгляд, плюнул и пошел прочь.

Трезвым он меня боялся. И называл за глаза так: «этат бальной». С уважением и презрением одновременно – бывает и такое. Мы жили в недавно построенном микрорайоне на самом краю города, здесь все знали всех, здесь трудно было хранить тайны. Он боялся, что я заражу его сына своей «балеэнью» – своей бумажнохуёвостью, своей бумагоползучестью, своей ненормальной любовью к книгам.

Как я уже сказал, идея игры принадлежала мне, приятели завидовали и постоянно пытались как-то повлиять на правила, а мне это не нравилось. Поэтому иногда мы поднимались с пола и противостояние продолжалось в воздухе – и уже не бумажные люди, а суровые боги становились друг против друга, сжимая кулаки.

И именно мне принадлежала другая идея: начать делать для игры не только бумажных солдат, монахов и рабочий люд, но и женщин. Что и говорить: над женскими фигурками мы

сидели значительно дольше. Попробуй вырежь все эти таинственные изгибы и кошачьи очертания, все эти кружева загадочных тел, придуманных кем-то для нашего наказания, тел, от одной мысли о которых потели ладони, болели соски и ныло между ног. Стоит руке дрогнуть – и вместо женщины получишь опухшую, бесформенную старую ведьму. А старухи – они ведь не считаются. В наших играх вообще не было ни стариков, ни детей. Только здоровые белые бумажные мужики, которые постоянно думали об убийстве себе подобных.

Какая же это болезнь – быть мальчиком. Моё тело напоминало мне тогда весеннее дерево. Я чувствовал что-то родное моему бедному мальчишескому телу в первых почках на ветках, в том, как же больно им весной распускаться, в их утренних мартовских столах, которые, кажется, слышал только я сам. Какая же это была мука. Мука тринадцатилетия. Ведь фантазия у нас тогда работала так, что не нужно было никакое порно, никакие стимуляторы. Однажды я не выдержал и начал делать фигурки обнажённых женщин, все заржали и с облегчением начали мне подражать, а потом мы лежали животами на своих империях и сравнивали, у кого что вышло, мы валялись на полу красные, как будто с нас содрали кожу, и почему-то не хотели смотреть друг другу в глаза, и становилось страшно, что сейчас вернуться родители и застанут нас за этой игрой. Мы настолько этого боялись, что уничтожали женские фигурки после каждой игры, и следующий раз их нужно было вырезать заново. И мы мастерили, неистово и неуклюже, – и больше не понимали, кто мы: боги, рабы или сумасшедшие, и громко смеялись, и ругались, и лезли на стены от чего-то невысказанного, страшного и неизбежного.

Однажды, успев уничтожить все обнажённые фигурки как раз перед приходом родителей, я, сидя с мамой и папой перед телевизором, с ужасом заметил, что одна фигурка осталась лежать под диваном. Как я мог недосмотреть, как мог её не заметить! Что будет, если мама её найдёт (она убиралась часто, чуть ли не каждый день)... Я уже не мог смотреть фильм, я думал только об этой забытой фигурке. А родители сидели рядом со мной, как прикованные. С трудом дождавшись, когда фильм наконец закончится, я долго не выходил из комнаты, но никак не мог остаться один. Потом меня послали на кухню за вареньем, потом родители выходили из комнаты, но по одному, каждый раз по одному, я никак не мог выбрать момент, чтобы схватить ту злосчастную фигурку и спрятать в штаны. Я сгорал от стыда. Наконец оставшись в комнате без родителей, я полез под диван, но фигурки там не было! Никакой фигурки, только полная пустота и чистота – и эта абсолютная чистота пугала меня больше любого скандала. Она была там. Я видел её. Куда она подевалась? Ответ на этот вопрос долго не давал мне покоя.

Годы спустя, когда я уже был вполне себе взрослым человеком и иногда оставался дома один, я несколько раз не выдерживал и ложился на пол, будто хотел отыскать ту потерянную женщину. Её нигде не было. Я брал ножницы и бумагу, и вокруг меня снова вырастали империи детства, мои солдаты, крестьяне, жрецы несуществующих религий, а я лежал с закрытыми глазами и печально прислушивался к своим ощущениям. Иногда мне казалось, что сердце колет что-то знакомое, я ожидал того самого, забытого уже нытья внизу живота, лежал, боясь спугнуть прошлое, которое, я думал, вот-вот прошмыгнёт мимо по пустой квартире – но в конце концов приходило только разочарование. Туда не возвращаются. По крайней мере, в одиночестве. Нужны враги или сообщники, но никто не способен вызвать их из царства теней.

При чём здесь лингвоконструирование, спросите вы? При чём здесь бальбута? Разве она родилась уже тогда? Конечно нет. До бальбуты было ещё как до Луны.

Как заточенному зубу карандаша до бумажного месяца.

Дело в том, что тогда, подростком, играя в наши странные игры и передвигая по полу бумажные фигурки, я предъявил приятелям одно важное требование. Если уж мы имеем свои государства и народы, мы должны придумать им языки, нетерпеливо объяснял я им. Это казалось мне таким очевидным: до слёз! – но, к сожалению, только мне одному. Приятели поневоле соглашались, да что толку: им хватало двух-трех глупых фраз – чисто для декора, бессмысленных фраз, которые они сами не в состоянии были запомнить. И когда я начинал расспраши-

вать, как будет на их языках то или иное слово или выражение, очень быстро они не выдерживали. Я хорошо помню их сильные психованные голоса: да пошёл ты, ты только игру портишь своими капризами. Теперь я, конечно, всё понимаю. Их увлекало другое: тыщ, тыщ, тыдыщ, власть, выстрелы, войска и голые женские фигурки. От балды придумав своему народу пару слов, они считали, что этого вполне достаточно, и раздражались, когда я ловил их на ужасных несоответствиях языкового строя.

У меня же всё было серьёзно. В толстых тетрадях я составлял словари и грамматики подвластных мне бумажных людей. И строго следил за тем, чтобы всё в моей стране было по правилам. Если какой-нибудь из моих генералов издавал письменный приказ, мне приходилось не раз и не два заглянуть в свои тетради. Мои генералы не имели права на ошибку. По крайней мере, на языковую. Друзей это раздражало. Их наспех нарезанные народишки болтали по-русски, хотя и имели, на бумаге, свои национальные языки. Что-то эта ситуация напоминает, не правда ли? В моих войсках и тайных службах даже были специально вырезанные и раскрашенные специалисты в тёмных очках, чтобы изучать языки врагов, – но им попросту не было чем заняться и они часами протирали на коврах свои бумажные брюки.

Таким образом, друзья не собирались тратить время и бумагу на такие мелочи, как лингвостроение, и, наверное, считали меня тем ещё занудой. Но в игры мои они играли с неподдельным подростковым энтузиазмом – ведь никто другой не мог предложить им ничего подобного. Один из дружков устроился теперь охранником в большом гипермаркете. Когда я его встречаю, то делаю вид, что мы незнакомы. Другой спился и умер в Москве. Он любил коверкать слова: это его выражение, которое он повторял с тупым наслаждением и каким-то кишечным смехом – «нормалды». С ударением на «ы». Нормалды, Олежка, всё нормалды. Все смеялись. Кроме меня. Под их глупый смех я размышлял, откуда и зачем это ненормальное «нормалды» и как оно могло прицепиться к нашему минскому русскому языку; явно что-то дикое, тюркское, глупый репейник из далёкой степи, принесённый слепым ветром с одного конца империи в другой.

Третий приятель уехал в Англию и как-то через много лет нашёл меня в фейсбуке. Он довольно долго доставал меня, посылая мне в приват бодрые вопросы относительно того, чего я добился в жизни, – и всё по-английски. Почему вдруг по-английски? Чтобы его ненароком не приняли за нашего? Но кто его мог увидеть здесь, в частном чате? Вскоре мне стало ясно. Ему не хватало моей зависти. Он хотел признания своего саксеса. Ему хотелось показать, что он «кое-чего добился в жизни». Почему-то они все, уехав, строят из себя ну таких уже европейцев, таких уже крутых и цивилизованных, что на рвоту тянет. Я внимательно рассмотрел фото приятеля, который улыбался из-под каких-то пальм. Да у него на лбу русским языком было написано: дитя говномикрорайона, совок по рождению и чистокровный славянин, то есть сын еврейки и татарина. Лицо его совсем не изменилось. Изменилась фамилия. На её конце появилась красивое «off». Был Сырников, а стал Sirmikoff. Интересно, помнит ли он наше ползанье по полу, наши пакты, победы, перемирия, наши путешествия с бумажным порно на потных подушечках пальцев – от плинтуса до плинтуса? Мне хотелось его расспросить обо всём этом, нашем, далёком, но я ответил только: Fuck off, Sir Nikoff. Зачем мне эмигранты – я сам эмигрант. Ведь всю жизнь бежал от всех их языков – к своему, единственному.

Вот так, ещё тринадцатилетним фриком в трениках, я придумывал языки. В том возрасте моей любимой книжкой был «Словарь юного филолога». А в особенности та его статья, которая называлась «Искусственные языки». Я и сейчас помню, где она размещалась в книге: она занимала правую сторону, слева была картинка, а продолжение было на следующей странице – я просматривал её снова и снова, и я хорошо помню постоянное чувство горечи, когда я перелистывал ту страницу: статья была обидно короткой и слишком быстро заканчивалась. Я жаждал ещё больше информации, но её нигде не было – ни в школьной библиотеке, ни в районной, ни в городской, всё тот же мизер, мне оставался только мой белый, бедный, всезна-

ющий словарь: какашечные пятна от какао и варенья на заветной странице, и крошки от печенья, навечно приплюснутые тугим корешком, и антропоморфные части речи на иллюстрациях. Вскоре он уже сам разворачивался там, где нужно, этот словарь. Чтобы снова выдать тот самый мизер, давно заученный мной наизусть. И всё же именно из этой белой книги я впервые узнал об эсперанто и Заменгофе, о волапуке и пасторе Шлейере, об идо и интерлингве. Меня завораживали эти слова. Ида Эсперанто: это звучало для меня, как женское имя, а Волапук – как имя похотливого лесного бога, который гонится за невинной нимфой (а на самом деле той ещё нимфоманкой). Я будто бы слышал незнакомые непонятные слова, которые слетают с их губ; было что-то развратное и тревожное в образе, который предстал передо мной, стоило мне взять мой словарь в руки. Словарь ни разу не оплошал – с ним я забывал мерзость родного микрорайона и дикость моей страшной средней школы, забывал свои нудные обязанности и красные повязки дежурных, с которыми мы, ученики, были похожи на молодых нацистов. С твёрдой обложкой, весь такой позитивный и правильный, полный цветных иллюстраций, чем-то похожий на детскую библию – этот соблазнительный словарь для старших школьников всем своим видом обещал мальчику или девочке, которые выберут филологию, место в рядах интеллигенции: всегда чистые руки, кабинетную славу и белый билет вместо чёрной работы. Я рано перестал ему верить. И всё равно языки меня завораживали, а больше всего завораживало то, что это и правда реально: когда-нибудь создать свой.

Позже я понял, почему у меня ничего не выходило, – я совершал детскую ошибку, не стоящую серьёзного лингвоконструктора: я хотел, чтобы языки, которые я придумывал, были как живые. Похожие на уже существующие. Наречия, создающие иллюзию жизни. Языки, которыми якобы пользовались миллионы людей, сотни поколений, языки седые и дремучие, скрытые где-то внутри пра-истории. Конструируя, я словно работал над звуковым фоном для фильма, оформлял искусственным языком данный мне согласно контракту искусственный мир. Я не был свободен. Я хотел, чтобы всё было как у людей, – имея под рукой лишь неумело вырезанные мной бумажные фигурки. Мне и в голову не приходило, что я и мои приятели тоже были героями, достойными языка, что мы и были готовой пра- и предысторией, вполне пригодной для рождения чего-то нового.

Создать язык – тяжёлый труд. В те времена и чуть позже, когда в моей жизни ещё не настал долгий период Поражения, я несколько раз пытался создать что-то стоящее и постоянно сталкивался с одной проблемой, с которой так и не смог справиться. Чем больше мой язык напоминал живой, тем больше условностей, соответствий и правил он требовал. Я нетерпеливо и небрежно разрабатывал лексику и грамматику, надеясь нащупать наконец спасательное дно – но язык ненасытен, он требует ещё и ещё, и ты погружаешься всё глубже и тянешь себя вниз в надежде ощутить чудо – а до дна ещё ужасно далеко. И ты просто тонешь. Захлёбываешься в бесконечности языка, в его обещаниях. Теперь я знаю: чтобы придумать язык, нужно сначала самому определить его дно. И оттолкнуться от него, и забыть, где оно, на какой глубине. Дать языку самому перемещать своё дно то ближе, то дальше от того, кто в него погрузился.

Настоящий лингвоконструктор не мастерит языки «как живые». Он создает живые языки.

Бальбута получилась такой живой, что от неё даже кто-то умер.

### 3.

Каждый сконструированный язык должен соответствовать пяти важным требованиям.

Во-первых, он должен быть лёгким для изучения. Не иметь исключений и других нелогичных сложностей, которые ничего не добавляют к его красоте, а лишь загромождают новое, созданное нами пространство. Пространство новорождённого языка – комната с белыми сте-

нами, полом из светлого дерева, много солнца и окна до потолка. Воздух и свет. Ничего лишнего.

Во-вторых, он должен быть благозвучным. Именно неблагозвучность погубила когда-то волапук. Музыка удерживает язык в нашем мире, соединяет его клетки в единый организм, не даёт им вернуться в хаос. И здесь нужны компромиссы. Девять из десяти европейцев считают идеалом благозвучности и музыкальности романское языковое наследие. Как бы ты ни относился к этим пошлякам, в чём-то они правы. Полноголосие и ударения, чистота гласных, рычание согласных – на всё это может наплевать только круглый дурачок. Хотя для меня идеалом в этом смысле всегда был литовский... певучий и древний язык соседей – его звуки даже физически приятно произносить. Видно, эта моя любовь как-то отразилась и в бальбуге.

В-третьих, язык должен быть поэтичным. С одной стороны, содержать поэзию в самом себе, уже созданном, с другой, быть способным её воспроизводить, иметь потенциал образности, чувствовать в себе силу говорить о невыразимом. Язык не язык, если он не имеет тайн. Каким бы он ни был богатым и сложным, язык мёртв, если он открыт только для ограниченного количества интерпретаций. Если на него (и с него тоже) невозможно переводить стихи.

В-четвёртых, он должен иметь определённую философию. Изменять личность того, кто им владеет, ставить вопросы, связывать с миром, влиять на мышление.

В-пятых, он должен давать свободу. Каждый, кто захочет им овладеть, должен иметь право делать с ним что захочет, изменять и приспосабливать к своим потребностям. Язык невозможен без гибкости, он – змея, которая одолеет своим гремучим телом любую стену, любое отверстие, любой рельеф, змея, для которой нет преград ни под землёй, ни на земле, ни на небе.

Таким образом, каждый новосозданный язык должен сочетать в себе благозвучие и свободу эсперанто, ум и сознание токипоны, лёгкое безумие славянских наречий и многозначность восточного иероглифа.

Бальбуга соответствовала всем пяти требованиям.

Она и правда получилась доступной и лёгкой. Ее правила можно усвоить за десять минут, а лексику за день.

Фонетика бальбуги произвольная. J – это йот и читается как «й». Ударение всегда на предпоследний слог – но в словах с – utima, – utika, – utikama только на «и».

Balbuta. Язык. Слово. История. Рассказ. Ответ. Вопрос...

Скажи: balbutika. То есть: слова. Или: языки. Или...

Латинская графика, знакомая каждому. Письмо без диакритики – она лишняя. Никаких диграфов, дифтонгов, артиклей, соплей, дублей, мелких дуэлей... Каждое существительное в номинативе имеет окончание – uta, при изменении – utima.

Скажи: balbuta balbutima. Слово Слов. Или Песня Песней?..

Для существительных, означающих занятие или профессию, я придумал специальный профессиональный суффикс: – aln для мужчин и – alinga для женщин.

Скажи: balbaln. Balbalinga. Tajnobalbaln. Tajnobalbalinga. Поэт. Поэт-ка... А может, просто одержимый амбициями бездарный лингвист-любитель?

Ну а множественное число: – utika. Я уже говорил. Проще не бывает. Изменяясь, слова во множественном числе приобретают окончание – utikama.

Balbutika. Слова. Balbutikama. Слов. Grimuta mau balbutikama. Музыка моих слов. Ну я и самовлюбенный Хер Дык Чван... Тоже мне. Музыка, блин, моих слов...

А разве не музыка? Каждый прилагательное заканчивается на – oje, наречие на – oju, глагол на – uzi. Прилагательные и наречия не изменяются. Все эти спряжения и склонения ничего не добавляют к пониманию языка, так зачем мастерить для бальбуги лишние виньетки, загромождать цветочками моё сбитое блестящими гвоздями логики произведение. Бальбуга –

конструктивизм с элементами ар-деко, а не какой-нибудь имперский кичевый псевдоклассицизм. Так решил я, первый Бальбутанин.

Конечно, с глаголами вышло немножко сложнее. Прошедшее время глагола образуется добавлением перед ним частицы *bim*, будущее время – *bu*.

Скажи: *bu balbuzu*. Буду говорить. *Vim balbuzu*. Говорил. Говорил и буду говорить: *bim balbuzu da bu balbuzu*.

Сослагательное наклонение глагола, мое любимое творение, танцуется так: берём глагол и добавляем к нему спереди *bif*. Признаюсь, это я придумал чисто для красоты. А ещё для того, чтобы придать туманностям бальбуты немного откровенности. Тот, кто владеет бальбутой, всегда играет сам с собой.

Как сконструированный язык бальбута сочетает в себе черты как априорных, так и апостериорных конлангов. То есть она и берёт из чужих источников, и даёт жизнь новым. Её лексическая база состоит из пары сотен слов, которые дают нам все необходимые корни и козыри. Образование новых и передача всех возможных значений – в руках того, кто говорит. Здесь и включается поэтическая сила бальбуты – ведь только имея представление о поэзии, открывая в себе таинственные резервы фантазии, активизируя все свои давно атрофированные органы, ответственные за чудо, можно выразить на бальбуте всё то сложное и интересное, что в тебе есть. Осветить себя внутренним огнём этого языка, возникшим из пустоты пламенем найденной в себе силы. Потенциально каждое высказывание на бальбуте – это готовое стихотворение, то состояние, когда тебе хочется от жизни чего-то большего, чем кормёжка, туалет, секс и сон.

Посмотри в самый конец книги. Вот он, словарь, тот заколдованный замок, где лежат сокровища бальбуты, *balbutika balbutima*, сокровища, которыми может пользоваться каждый, и от этого их станет ещё больше.

Как видим, философия бальбуты основана на разнообразии, свободе и поэзии. В ней нет слова «должен». В ней нет слова «мы» – только бесконечное число свободных и уникальных «я». В ней нет слова «бог» – а если кому-то заблагорассудится заполучить себе бога, он назовёт его своими словами, теми, которые пригодятся именно ему, и никому другому. В ней нет ни морализаторства, ни морали, нет слов, которые бы оценивали, хорошо что-либо или плохо, правильно или нет. Всё имеет право на существование. Мир сложный – и это не хорошо и не плохо, так просто есть. А если хочется выразить, что чувствуешь, дать оценку, можно использовать другие слова – которые погасят эмоции, успокоят, и останется только правда. Бальбута экологическая и толерантная: в ней нет различия между человеком и животным, между сорняками и растениями из Красной книги, нет преимущества одних над другими, нет языкового угнетения, нет власти точного и окончательного названия. Бальбутой трудно кого-то унижить, а вот воспеть – пожалуйста. Слово «красивый» в ней означает лишь личное отношение к объекту. Бальбута – язык тонкого вкуса. Язык свободы, поэзии и счастья.

Бальбута открыта: если лень придумывать, можно бальбутизировать латинские слова и не чувствовать себя пристыженным. Что касается собственных имён и названий, то их, согласно правилам, можно писать как хочешь. Даже если твоя фамилия «Щимиржицкий». Как кому называться – его дело и его право. Которое нужно уважать.

Что ж, свобода – нож со множеством лезвий: на бальбуте можно говорить и лозунгами:

«Belarus istuzu!»

«Kau ne fuzu, ne kusuzu».

«Fuzalno ujma tutikama, bu kopja!»

«Deutschland ujming ujma!»

«Rosija statuzu tork!»

«Fu Amerika ujma noju!»

Или даже так:

«Duzu tributika stutima – o tajnuta».

«Ugustrilutika – o ne hitruta!»

Как уже говорилось, само слово «balbuta» означает «язык», а ещё «слово», «имя», «название», «высказывание», «послание», «письмо», «сообщение» и так далее. От «balbuta» мы можем образовать другие части речи со множеством значений: «balbuzu» – это и «говорить», и «называть», и «звать», и «читать доклад», «balboje» – «языковой», «именной», «общительный», «устный», «высказанный»... «Balboju» – устно, словами, с помощью языка... Balbuta duzu tau algutima balbuzu ujma. Были бы только рядом другие слова, которые своей логикой и силой создадут ситуацию свободы. В бальбуте всё решает контекст. Бальбута стимулирует человека говорить и не бояться, подталкивает экспериментировать и отдавать дань разнообразию и бесконечности мира. Брать сколько угодно слов, все, что под рукой, и не бояться окрика.

Если говорить о счёте, то я решил, что для цифр и обозначения количества следует придумать отдельную схему. У современного человека и так постоянно перед глазами написанные цифры – так почему бы вместо того, чтобы применять сложные архаичные формы, просто не озвучить то, что видит зрение и визуально фиксирует мозг.

0 – zironk

1 – onk

2 – donk

3 – tronk

4 – kronk

5 – skonk

6 – sonk

7 – sidonk

8 – etonk

9 – nonk

10 – dzonk

Конечно, для сотен и далее потребовалось ещё несколько слов.

100 – stonk

1 000 – tisonk

1 000 000 – milionk

И если мы говорим «сто пятьдесят три» – на бальбуте это будет stonk skonkitronk. А если, например, «тысяча двести семьдесят девять»: tisonk donkisionk nonk.

Нас было четверо. Vim kronk au. Дословно: было четыре «я».

Но сначала был я один, бог. Ksutima au onkuru bim, B.O.G., suta da kavuta, amgluta da negrimuta. В начале был только я, человек и кофе, время и тишина.

Da donk bim m-e-e-suta kroskoje. Meesutko. А вторым был он – Козлик.

Ко-о-озлик...

#### 4.

Тайком насладившись созданным мной наречием, вылепив из его месива, как ребёнок из подаренного ему пластилина, полдюжины простых фигурок, я немного успокоился и твёрдо решил никому пока что о бальбуте не говорить. Совершенствовать понемногу её неслыханный вкус – и ни в коем случае ни с кем не делиться. Нужно было сделать паузу – пусть отлежится, перестанет быть сном, наберётся сил, чтобы принять все предназначенные ей вызовы. А лучше всего, думал я печально и с каким-то почти садистским наслаждением, пусть навсегда останется моей и только моей мёртвой красотой.

Но созданный мной язык не выглядел мёртвым. Нет, чёрт бы её побрал, бальбута не лежала неподвижно на застеленном мной ложе, в свадебном платье, холодная и совершен-

ная. Ничего подобного! Она соблазняла, она вибрировала, не давала сосредоточиться на чём-нибудь другом, звала из тьмы, манила своими сладкими полнозвучными гласными. Она танцевала передо мной, она звенела – недаром я увещал её монистами стольких звонких звуков, она густо и страстно трубила в свой рог – и мне становилось всё более неловко. Её способность к жизни была абсолютной. Она могла всё – и принадлежала мне одному.

Как осатаневший от любви восточный сатрап, каждую ночь я приходил к ней в комнату, ключ от которой существовал только в одном экземпляре, любовался ею, насыщался ею, пересыпал из ладони в ладонь её золото, шёлк и серебро, нюхал её материю, гладил её кожу – и чувствовал при этом всё больший страх: или её украдут, или я раздам её толпе. Раздам всем нищим, тупым и безликим, раздам в одном ужасном, пьяном порыве, и больше никогда не смогу вернуть. «Последний раз я был у тебя», – клялся я каждый раз после своих визитов, «Учти, последний!» – и всё равно стоило Верочке уйти на работу, как я бросался открывать клетку.

Как-то зимой я не выдержал и начал переводить на бальбуту стихи и разные короткие тексты. Бальбута будто бы только этого и ждала – в ней наконец забурлила кровь, она принимала любую форму, которую я ей предлагал, ей не были нужны приказы и напоминания, она с улыбкой извивалась, становилось мягкой или, наоборот, послушно твердела, стоило мне только представить, чего я от неё хочу. Она была бесконечным пространством слова, она перевоплощалась в любой образ, который мне хотелось притащить с собой в её золотую клетку. Моя бальбута... она была такой покорной, такой предупредительной... Каждый день я наблюдал волшебство: на моих глазах молниеносно вырастали новые растения, существа, пейзажи – никем не изведенные, невидимые, и познать их мог только я. Одного моего желания хватало, чтобы вся эта роскошь и вся тайна свернулись, спрятались – и снова уступили место реальности. Я был королём бальбуты. Её диктатором. Единственным её любовником, первым и последним. Её сердцем. Её убийцей.

Как-то в марте, трясясь в троллейбусе, я думал про свою бальбуту, думал, как я приду к ней в эту ночь, – и тут на остановке вошёл какой-то человек, который... Как бы это сказать? Он вдруг показался мне таким обычным, что я даже отвернулся, так мне стало нехорошо.

Это был мужчина: не лысый, но достаточно редковолосый, одетый не богато, но во всё новое, с рынка, такое, чтобы не выделяться, с глазами не тупыми, но и не сказать, чтобы умными, тело его было вполне пропорционально, но правильные пропорции сожрали его индивидуальность, у него не было ни шрамов, ни родинок, ни бороды, лицо было желтовато-серым, но не слишком серым и не слишком жёлтым, а как раз таким, чтобы слиться с цветами города; его внешность трудно было запомнить, он был не высокий, но и не низкий, скорее: среднего роста... среднего возраста, среднего класса, среднего образования, средних размеров, средних потребностей – и родился он, по-видимому, также в среду.

Такой себе средний минимальный белорус, базовая человеческая величина.

Он был обычный даже по сравнению с теми, кто сидел вокруг меня и наполнял собой троллейбусные внутренности, он был такой обычный, что я даже физически чувствовал его банальность, его усреднённость, его нормальность, он был такой, будто сама повседневность назначила его своим представителем, своим посланцем в этом городском тумане, словно она утверждала через него свою мрачную власть в толпе. Средний мужичок ухватился за поручень и зевнул, обнажив не очень хорошие, но всё ещё целые зубы. Утвердившись на новом месте, заняв место под солнцем, он начал испуганно-брезгливо оглядываться – так они все делают, когда не чувствуют для себя непосредственной угрозы.

Между нами сразу возникло некое противостояние – хотя я видел его впервые и он меня тоже. Что-то такое появилось в воздухе, будто на нас с ним кто-то смотрел. Он также почувствовал что-то не то, начал бросать на меня взгляд за взглядом, он не понимал, в чём тут дело, но улавливал какие-то волны моего отвращения и моей зависимости от него – его взгляды

становились всё более недружелюбными, и всё больше страха и ненависти появлялось в его неглубоких глазах.

Я не мог отвести от него глаз. И вдруг отчётливо представил себе, что он, этот обычный человек, вот этот вот мистер Норма, господин Нормалды, сейчас скажет мне что-нибудь на бальбуге.

Меня будто по голове ударили.

Будто троллейбус полетел в пропасть.

Будто мною выстрелили из пушки в небо.

Он, этот обычный мужичок, мог бы говорить на бальбуге. Мог бы ею владеть. Обладать ею. Мог бы говорить на бальбуге свои средние слова, думать средние мысли, формулировать на бальбуге свои средние нужды. А почему, собственно говоря, нет? Мужичок был живой, как плесень, и бальбуга была живая. Сейчас он раскроет рот... И я услышу...

Этого не могло быть.

И всё же могло. Его мозга вполне хватало, чтобы усвоить определённые мной правила. Его памяти было достаточно, чтобы изучить все слова. Его рот мог произнести эти звуки не хуже моего – и его речь могла звучать на бальбуге, как и на любом другом языке.

На любом другом – почему бы не на моём?

Осознавать это было невероятно больно.

И невероятно приятно.

Меня охватил стыд. Очень похожий на тот, который я чувствовал когда-то в детстве. Сладкий стыд бумажного мальчика, который рисует бумажных женщин и торопливо мнёт свои рисунки, боясь, что его застанут за этим занятием.

Не в состоянии отвести от него глаз, я смотрел на мужика в троллейбусе и в мыслях давал ему произнести на бальбуге то одну, то другую фразу, он моргал глазами, он бесился от моего гипноза, он и подумать не мог, что способен на такое – говорить на языке, которого нет. Мой потенциальный бальбуганин. Как же ты меня тогда напугал.

Правда, которая открылась мне в тот момент, обжигала сознание. Всего лишь одна ошибка мироздания, всего лишь возможность ошибки, всего только представление об ошибке – и на бальбуге может заговорить каждый. На меня навалилась вдруг страшная ревность, которая не просто волновала, она физически возбуждала – и я ничего не мог сделать с этим возбуждением. Я делился тем, что любил, – и мне хотелось, чтобы они брали это у меня на глазах. Жрали, чавкали, овладевали, делали своим, совали себе в рот. Я будто следил за чужим любовным актом. И мне всё было мало. Я жаждал продолжения.

Кое-как оторвав мокрые руки от поручня, на следующей остановке я всё же выбежал на улицу. Мистер Нормалды с его обыденностью и его ненавистью мог наконец вздохнуть спокойно. Но не вы, дорогие мои минсквичи. Я шёл сквозь толпу и пытался примерить бальбугу на каждого, кто спешил навстречу: насупленных мужчин, женщин с невидящими глазами, детей и стариков – и ни о ком не мог сказать с уверенностью, что он не мог бы заговорить на бальбуге, если бы его научили.

И тогда я решился.

Это было глупое решение, но я ничего не мог с собой поделать. Ещё вполне вменяемый, внешне ещё приличный, обычный, нормальный, я уже дал согласие на участие в этой оргии с самим собой.

Мокрый и, наверное, болезненно-бледный, с замиранием сердца я остановился у «Макдоналдса» и достал телефон.

Делая вид, что звоню кому-то, я стоял в центре города, среди всего этого разнообразия человеческих существ, которые равнодушно огибали меня, спеша по своим делам, – и громко и нагло разговаривал на бальбуге. На языке, которого не было, с собеседником, которого не существовало. Впервые в жизни.

Слова. Фраза. Речь. Течение удивительно мелодичных звуков, которые заглушало громкое ворчание города.

И снова: ничего не изменилось.

Они шли на меня, мимо меня, спускались в подземный переход, говорили, молчали, кашляли, хлюпали ногами по мартовской слякоти, и никто не обращал на меня внимания. Будто я по-русски болтал, ей-богу.

В центре большого города, на глазах у всех, впервые звучал несуществующий язык – и никого это не волновало. Оттого что никому нет до меня дела, оттого что никто, ни один человек из тех, что сейчас торопливо обходили мою фигуру в грязном плаще и неуклюже завязанном шарфе, не догадывался, что происходит, мне стало плохо. Возбуждение достигло какого-то предела, за которым я уже не мог себя контролировать. Мне срочно нужно было побыть одному. Я забежал в общественный туалет, заплатил и спрятался в кабинке. Я ощупал своё тело, его гусиную кожу, все его тёплые выступы, засунул руки себе в штаны, под мышки, на спину, много, много рук – и потихоньку вернул себе ощущение цельности.

Успокоившись, я задумался.

Они не могли понять, что я, улыбаясь, кричал там, наверху, в телефон. Но какое-то мгновение они всё же слышали эти странные звуки. Они конечно же подумали, что я иностранец. Да, так и было! Их память на секунду-другую отметила неряшливого, вспотевшего иностранца, который стоит у «Макдоналдса» и разговаривает с кем-то по-своему, она приложила незнакомые звуки к своему примитивному набору стандартных образцов, их мозги оценили невозможность решить задачу – и этот тщедушный иностранец был выброшен из памяти, он был идентифицирован как слишком короткий, неинтересный, не нужный им, бесполезный эпизод. Мало ли около «Макдоналдса» ошивается иностранцев. К ним тут давно привыкли.

И всё же они меня слышали, мои соотечественники. Слышали! А я говорил. Нёс чушь о погоде, о ценах, о еде. Будто в мире и правда существовали люди, которые могли мне ответить.

Так я впервые вывел бальбуту в мир. Голой, живой, на коротком поводке. Кажется, ей понравилось. Она хотела ещё.

Я не мог ей отказать. Вечерами я выходил в город, лез в самую гущу, в водоворот локтей, рюкзаков, затылков, пристраивался к обитателям подземных переходов, доставал телефон и говорил на бальбуте. Они оглядывались, в их глазах вспыхивал и сразу же гас интерес. Может, они принимали меня за итальянца. А может, за того, кто выгуливает туристов по Минску, – ведь бальбуте плевать на произношение. А может, и им было плевать, кого я выгуливаю – несуществующий язык или несуществующих людей.

Мокрый февраль, сумасшедший март... Город пообсох, повсюду, на прошлогодней жесткой траве, на асфальте, на деревьях и спинах, появились пятна, словно от стирального порошка. Начался апрель, вернулся холод. Вылазки уже не приносили прежнего возбуждения – и вот как раз в это время, когда игра начала мне надоедать, я абсолютно неожиданно получил на электронную почту небольшое, но бойкое письмо.

«Что ж, пане, – писал мне какой-то незнакомец, даже не поздоровавшись, – благодарю, неплохая задачка. Не знаю, кого вы надумали дурить, но проект ваш достаточно самонадеянный. Что касается меня, то даже природная лень не смогла настолько склеить мне мозг, чтобы я не смог разгадать милое личико нового конланга. Не знаю почему, но чувствую давнюю симпатию к их мордахам. Правда, жизнь у них, как у бабочек. Брожу иногда по кладбищу вымышленных языков, и знаете, пане, взрослую могилку там редко когда увидишь. Всё умирает ещё на стадии рождения. Более чем уверен, что и вы своё детище давно похоронили, так и не дав ему ни голоса, ни цвета, ни лапкой махнуть. Ну да, перевод... И что дальше? Лингвоконструирование, к сожалению, для вас всех разве что игра на один вечер. Но имя-то отец своему детищу успел придумать? Пришлите его мне, а? Что называется, ради научного интереса. Вам хоть какое-то воспоминание, а мне в коллекцию мёртвых имён новый экспонат. А лучше добавьте

к названию ещё несколько переводов вместе со словариком и грамматикой. Хочется поразвлекаться на досуге.

Знаю, что не ответите, потому попрощаюсь так: *bu ne strikuzu!* Но всё же буду надеяться на ответ. Ибо надежда умирает... бла-бла-бла, ну, вы поняли. Со всеми поклонами – Каэтан Покаянский».

Я перечитал это письмо несколько раз, чувствуя всё большую панику. Неужели я действительно вижу это: два слова на бальбуте, которые настучала на клавиатуре вовсе не эта вот, знакомая до отворачивания, моя правая рука – а какая-то другая? Тоже правая, но чужая. В мире был кто-то ещё, кто владел моим языком – пусть только двумя словами, но он их написал, и я не знал, кто он такой и зачем это сделал.

«Бу не стрикузу» – «Не жду»...

До меня не сразу дошло, как он меня вычислил, – но потом я вспомнил: как-то мартовской ночью, одуревший от холодного кофе, я оставил на одном набрякшем гнилыми амбициями сайте свой перевод забытого венгерского поэта, гомосексуала и бездарного самоубийцы Имре фон Штукара. Мне показалось, он хорошо звучал на бальбуте. Я не раз жалел, что сделал это, но меня утешало, что мой перевод всё равно останется никем не замеченным. Ведь этот сайт существовал как чёрная дыра, в которой тексты исчезали быстрее, чем их мог кто-то прочитать. О, это была странная страница... Сообщество больных манией величия, никто не читал никого, кроме себя, никто не читал живых, никто никого не читал и ни у кого не было даже капли таланта – да что говорить, там даже самого себя читать считалось плохим вкусом. И всё же эта неумело сделанная, примитивная и набитая вирусами и тупой российской рекламной страница, которой, я был уверен, никто не управлял, трещала от самых разных текстов на самых разных языках. Это была большая свалка литературных обид и переводческих неудач, богом забытая планета самозванных гениев и несбывшихся надежд – и чтобы наткнуться на мой перевод, нужно было хорошенько побродить по её скользким и темным лабиринтам. Я зарегистрировался на этом сайте давно, ещё когда жил один, и, видимо, там до сих пор висел мой мейл. Кем надо было себя считать, чтобы добраться до перевода стихов никому не известного извращенца Имре фон Штукара, да ещё и на бальбуту? Какую нужно было иметь одержимость, какую случайность надо было благодарить?..

Сначала я решил ничего не отвечать. Не без труда отыскал свой перевод и удалил его – но никакого облегчения не почувствовал. Я не знал, что мне делать. Пытался представить себе этого тайного Каэтана: вот же гад, ему хватило ума и рвения, чтобы, воспользовавшись моим скромным переводом, постигнуть некоторые из правил бальбуты. Наверно, это человек моих лет – и, возможно, даже моих амбиций. Не без таланта – достаточно оценить стиль его письма. Создает себе имидж этакое эстета. И надо же, какое прекрасное хобби: собирать названия умерших при рождении конлангов. Каэтан... Ну, этому мы, положим, не поверим, нашел дурака. Скорее какой-нибудь Андрей или вообще Санёк. Санёк-пенёк. Хитер Змитер. А может, и Александр Эдуардович. С фамилией через дефис. Они такое любят, эти Эдуардовичи. Интеллигенты хреновы. Вероятно, моего возраста, не женат, разочарованный циник, любит выпить, курит трубку. Нет. Возможно, он инвалид, подумал я и сразу поверил в эту соблазнительную версию. У него уйма свободного времени – вот и мается человек разной ерундой. Может себе позволить.

Конечно, я сам совершил ошибку и выдал себя, опубликовав свой текст. Но возможно, если я в ответ промолчу, рвения у тайного Каэтана вскоре поубавится, а там, глядишь, и вовсе пропадёт желание лезть ко мне в друзья. И он забудет и мой дурацкий перевод, и мой почтовый адрес. И о том, что он когда-то мне написал, тоже когда-нибудь забудет. Найдёт себе другие развлечения.

Незнакомец, который ждёт, что я дам ему ключ от клетки. Той клетки, где я прячу своё живое. Свою любовь и свою смерть.

От каждого его слова пахло чем-то опасным. И он знал это. Он смеялся надо мной, сидя где-то во враждебном мне мире, может быть – даже за вот за этой самой стеной.

Прошло несколько дней, и я понял, что промолчать будет труднее, чем мне казалось. Искушение мучило меня – ведь это был шанс увидеть человека, который произнесёт слова бальбуты просто у меня на глазах. Я услышу эти звуки, увижу, как шевелятся губы, как язык выталкивает в воздух слова созданного мной языка. Нет, не создание языка делает тебя богом – а возможность видеть, как этим языком говорят незнакомые тебе существа, как она оживает в складках их кожи.

Письмо пришло в ночь с воскресенья на понедельник. В пятницу я написал ответ. И уже вечером я переписывался с тем, кому первому суждено было заговорить со мной на бальбуге, – и я никак не мог понять, кто кого поймал в свою сеть, я его или всё же он меня. Кто из нас должен был подчиниться?

Почему-то мы сразу же договорились встретиться – в следующий понедельник в шесть вечера. До сих пор не объяснимое решение: что мешало нам общаться онлайн и спокойно обсуждать всё на свете? Зачем было это личное знакомство? Как-то я провел специальное исследование, пытаюсь понять, чья это была идея: встретиться и познакомиться. Развиртуализироваться... Нашёл те наши первые мейлы. Выяснилось, что идея была моя. А он был виноват в том, что не отказался. Наоборот, согласился слишком быстро. Подозрительно быстро. Словно от того, как я выгляжу, зависело, продолжать ли ему контакты со мной.

Какое облегчение. Он жил в том же городе, что и я. Мы договорились встретиться на площади Победы, за столиком возле «Щедрого» – был там такой универсам с кафе прямо у выхода из метро, демократичное место, дешёвое пиво, кофе, молочные коктейли. Он написал, что будет держать в руке книгу. «Какую?» – спросил я. Он не ответил. Хотел меня подразнить.

Я намеренно пришёл раньше. Не доходя до столиков, я занял позицию возле парапета. Сел на холодный мрамор, закурил с дремлющим видом, делая вид, что никакого «Щедрого» для меня не существует, а существуют только девичьи ноги, что пробегают мимо, – май только только расщедрился на тепло. Дремал, курил – а сам внимательно изучал, что делается там, под зонтиками. Столиков было три. За одним сидели какие-то чрезмерно волосатые мужики, все в тёмных очках, сидели и о чём-то спорили, оживлённо жестикулируя. Один в определённый момент даже угрожающе приподнялся, но другие примиряюще схватили его за локти. За вторым столиком бабушка раздражённо наблюдала, как внучка ест мороженое. Стол покрывался белыми пятнами, как краской, девочка облизывала себе запястье, мизинец, указательный палец, вдруг вафля сломалась, как будто у девочки пальцы хрустнули, – и бабушка вздрогнула от неожиданности. Третий столик был пуст.

Почти шесть. Мужчины ушли, не переставая спорить. Но мороженое у девочки всё не заканчивалось. Третий столик заняли две дамочки, которые заказали себе по шампанскому. Книг у них не было.

Я уже успел выкурить три сигареты, когда к первому столику подошёл какой-то паренёк и начал оглядываться. Я отвернулся, хотя подозрения мои росли; мне не хотелось пока что им верить. А когда я снова посмотрел на столики, то огорчённо застонал и спрыгнул с парапета. Неуклюжим подростковым движением этот юнец достал из рюкзака книгу, ветер пробежал её одним дуновением и полетел дальше. Паренёк был здесь лишний, смешной, как прыщ, и чувствовал это. Слишком большие руки, которые он не знал, куда девать, смели со стола книгу, сбросили на асфальт. Он полез поднимать, острые колени уперлись в столик – я успел разглядеть, что он в шортах, голая, белая куриная кожа резко контрастировала с ядовитой желтизной носков. Мне вдруг стало жалко себя, я чуть ли не плакал от разочарования. Вся эта затея с нашей встречей показалась мне полной чушью. Как я буду выглядеть в собственных глазах, если всё же подойду к этому сопляку? О чём мне с ним говорить? Как всё бездарно, фальшиво

и опасно. «Здравствуй, как тебя зовут, я тот дядя, который придумал бальбуту, хочешь, я буду тебя учить, мой мальчик?»

Козлику было девятнадцать, но тогда, когда я впервые увидел его у «Щедрого», мне показалось, что ему лет шестнадцать, не больше. Чёртов вундеркинд, он думал, что обведёт меня вокруг пальца. А я тоже тот ещё гений, знаток людей – поддался на примитивную детскую фальшивку. Зачем мне дети? У нас с Верочкой не могло быть детей. Представляю, что это были бы за дети, если бы она приказала мне их завести. Исчадия. Чудовища! Их королевские беспощадия...

Быстрым шагом, больше не оглядываясь, я шёл в направлении Дома-музея Первого съезда РСДРП. Разочарование душило меня. Я уже был почти готов к тому, что услышу сегодня бальбуту от незнакомого человека. Впервые и, возможно, в последний раз. Но этот пацан? Нет, превращать бальбуту в детскую игрушку не входило в мои планы.

Быстрым, злым шагом, всё дальше от «Щедрого», от фарса, в который чуть ли не вляпался, от насмешек, которыми неустанно награждал сам себя. Ну я и болван. Над коммунистическим домиком плыл дым. В музейном саду жарили шашлыки. Запахло нашей минской речкой – словно её только что извлекли из давно не размораживавшегося холодильника. И тут чья-то большая и нервная рука легла мне на плечо.

«Извините! Вы же меня ждали?»

Я резко развернулся, и он налетел на меня – нескладный, как стихотворение.

«Никого я не ждал», – бросил я невыразительным голосом, пряча глаза. Губы не слушались, будто я сто лет их не разлеплял, ладони потели, и сладкий запах шашлыка наполнял рот густой слюной. Кажется, я даже плюнул ему на бороду.

Он отступил. Взъерошенный и невысокий, он напоминал кактус. Я презрительно посмотрел на него и повторил уже громче:

«Чего тебе, паренёк? Денег нет? Иди к метро, там постреляй».

Он скривился. Казалось, он сейчас заплачет.

«Знаю я вас, – не унимался я, порываясь убежать от него к реке. – Турист из какого-нибудь Пи-и-тера... Адалджи-и-ите на метрошку... Весь город нам загадили».

«Я вам писал, – голос его дрожал. – И... Вот книга».

Какие мы ранимые однако.

Я решительно пошел к набережной. Делая широкие неуверенные шаги, он тенью поскакал рядом.

«Я не турист, я вам писал», – он постепенно взял себя в руки. Голос его звучал так искренне, что мне стало противно. Он был в моей власти, этот пацанчик.

«Он мне писал, чего же боле. Вихри снежные крутя. Что же это вы по-москальски со мной вдруг забалакали, пане Каэтане, – издевательски говорил я, брезгливо выставив плечо и пытаясь от него убежать. – Иди гуляй, сопляк».

«Мне и правда интересно, – не отставал он. – Я спать не могу. Всё думаю о вашем эксперименте. Об этом вашем конланге. Как вы его назвали?»

«Иди отсюда, эсперантист, – огрызнулся я. – Раскатал губу».

Так мы добежали до Свислочи, он, высоко выставляя юные гладкие колени и вцепившись в свою смоляную хипстерскую бороду, и я, седой, лысоватый, с выставленным в его сторону презрительным плечом. Тупые клоуны – вот кто мы с ним были. Но город не замечал нас, город девичьих ног, свежепокрашенных лавочек и летней резины.

Я дошел до берега и остановился.

«Долго ты будешь за мной бегать?»

«Не прогоняйте меня!» – вдруг закричал он, широко открыв глаза. Вот теперь город оглянулся. Подозрительно и насмешливо. Небо стало серым, сделалось так тихо, что мы оба испуганно вздрогнули.

«Что ты кричишь, истеричка?» – я оттолкнулся от каменной ограды и пошёл в сторону детского парка. Он постоял немного, а потом догнал меня. И тут на нас обрушился град. Прохожие побежали кто куда, около музейного домика спасали шашлык, а я быстро дошёл до тоннеля под мостом и стал там, закуривая сигарету. Он прибежал, тяжело дыша, и стал наблюдать, как я щёлкаю зажигалкой.

В тоннеле мы были одни. Я стоял, глядя на сплошную стену дождя, смотрел, как по асфальту прыгают градины, крупные, как таблетки. Что они лечат, какую боль унимают? Только теперь мой Каэтан понял, что всё это время держал в руке свою нелепую книжку. Ну конечно. Роберто Боланьо. «Первый классик двадцать первого века!» «Третий рейх»... Что ж, половив лаечки в фейсбуках, можно и такое почитать. Хорошо, что хотя б не этого... Франзена...

«Хотите посмотреть?» – он с надеждой протянул мне книгу.

«Читал», – процедил я, ожидая, когда закончится град.

Он с радостью и как-то очень по-доброму улыбнулся. В тоннеле под мостом было темно. Он покорно стал к стене, спрятавшись в полумраке. Было слышно, как над нами едут машины – во время дождя город становится намного громче. Я намеренно говорил с ним шёпотом, чтобы он не мог ничего разобрать.

«Будем считать, что это ошибка. Сейчас кончится град, и мы разбежимся. И ты забудешь и меня, и мой адрес, ясно?»

Град колотил по зазубренному асфальту. Терпеливый мальчик. Мне показалось, он стоял и кивал. А ещё я понял, что у него никогда не было женщины. Может, по его девственным рукам, а может, по колену, которое робко дрожало от холода. Мне хотелось, чтобы сюда, в тоннель, вошла какая-нибудь девушка – и под моим властным взглядом опустилась на асфальт и вцепилась в его колено зубами. Как в яблоко. О, как бы это меня потешило.

Что-то менялось между нами. Неуловимо и быстро. И мне становилось как-то совсем неудобно.

Скорее бы закончился этот дождь, этот град, этот плен. Я поеду домой. Успею ещё побаловаться с бальбутой до Верочкиного прихода.

Град играл с нами. Утихая, давая обманчивую надежду, он сразу же начинался с новой силой. Словно кто-то следил за нами. Я докурил сигарету и бросил её в угол.

А потом я вдруг услышал его голос. Выставив бороду, он читал нараспев:

«Akkou klinkuta

Deu natuzu

Tau

Tajnobalbutika da ujma sau onoje,

Skutoje natributima da broje

Dinagramutima, sau neokuz nekau –

O bu tau kvaj legoje da samoje

Da u sprugutima tau bu pavuzu, mau

Komutko noje...»

Он помолчал, смакуя эффект.

Сказать, что я был потрясен, значило не сказать ничего.

Я был пригвождён, пристыжен, jebanuta.

Это был мой перевод. То, что он звучал теперь в центре города, в этом тёмном переходе, где никогда не выветривалась вонь мочи, где на заплесневелых стенах жил мрак, где никого не было, кроме нас с этим мальчиком, ощущалось мною как чудо.

Я смотрел на него большими глазами, я будто гладил взглядом его по лицу. По его розовым щекам, по бороде, по ресницам.

«Я пока мало что понимаю, – смущённо и радостно произнес он. – Но я повторяю это каждый день. Это круто. Понимаете? И я хочу ещё».

Никогда не учивший бальбуту, он правильно расставил все ударения. Перевод звучал музыкой, настоящей музыкой, иногда грубоватой, иногда слишком в тон улице над нами, но осмысленной и удивительной музыкой, в этом не было никаких сомнений. Мой любимый стих Имре фон Штукара за один миг вернул гармонию окружающему нас миру. Теперь я мог управлять этим городом.

«Меня зовут Денис, Денис Козлович, – сказал этот милый лжец Каэтан Покаянский, и я засмеялся. Он удивлённо поднял брови. – А вас?»

«Бальбута, – сказал я, закрыв глаза. Город и Козлик. Я и подумать не мог, что меньше чем за минуту у меня в кармане окажется такая шикарная добыча. – Язык называется бальбута. Я тебя научу. Au bu duzu tau vedutima, mau kroskoje mautko, mau onoje suta u istutima, mau meesutko, mau balbaln».

## 5.

Возвращаясь домой, к Верочке, в пещеру своей пыльной однушки, я думал о Козлике – и снова и снова прокручивал в голове его голос: ещё и ещё, раз за разом, словно я записал его на свои воспалённые нервы, словно этот голос навечно остался у меня внутри. На пассажиров мне теперь было наплевать: существовал реальный Козлик, козлик с ручками-ножками, который жаждал выучить придуманный мной язык. Вечер у нас был долгий, мы обошли с ним весь парк, вышли на Первомайскую, углубились во дворы, прошагали по велосипедным дорожкам вдоль канала, пока не упёрлись в стройку и не повернули назад, мы никак не могли расстаться, будто это был поцелуй, а не прогулка.

В этот первый вечер я многое узнал о Козлике, а сам рассказывал ему только о бальбуте, тщательно избегая любой личной информации. Какое-то подсознательное чувство, которое трудно было назвать страхом, что-то отвратительно взрослое, почти старческое, заставляло меня быть осторожным. Будто я ему не до конца верил. Будто своей красивой декламацией фон Штукара он намеревался обвести меня вокруг пальца. Нет, я не собирался поддаваться очарованию его странной искренности. Я оставлял себе пространство для побега. Мог ли я подумать тогда, что это замечательное пространство окажется в конце концов таким дырявым. Одни дыры, беги – не хочу... А не от кого.

Ну да ладно.

В свои девятнадцать Козлик успел увидеть и пережить столько интересного, что я ему даже немного позавидовал. Он был студентом филфака, бросил, мог загреметь в армию, собирался снова поступать, уже на юриста. Но всё это было разве что прикрытием. Ведь на самом деле... На самом деле он учил эсперанто (бросил, когда почувствовал, что оно слишком напоминает итальянский с испанским), знал пару сотен стихов в оригинале на двадцати языках и мог прочесть их наизусть (но кроме беларусиша и русиша бегло говорил только по-английски), одолевал один за одним всякие странные романы (Лампедуза, Боланьо и Кнау-сгор были пройденным этапом, теперь он взялся за трехтысячестраничный «Quercus» Гионы Гийен, настоящий шедевр занудства), три года подряд ездил каждое лето не куда-нибудь, а в Киргизию (обязательно посещая по дороге Гуляйполе). Рисовал денежные знаки несуществующих стран и пытался обменять их в «Беларусбанке». Два года был веганом, позволяя себе по праздникам жареных насекомых (если верить Козлику, он учился их готовить и употреблять строго согласно Библии). Однажды приковал себя к какой-то скандальной скульптуре в маленьком польском городке, требуя её снести (за месяц до этого активисты приковывали себя к ней, протестуя против её уничтожения, и их послушали, а его нет). Всю дорогу он намекал на существование каких-то необычных коллекций, собранных им исключительно для удовлетво-

рения своих эстетических потребностей. От этого мне снова стало как-то очень неудобно, но я решил, что использовать меня как экспонат для одной из них он всё же побоится. И вообще, он меня почему-то слушался. И слушал так внимательно, словно я был Христос, а он мой апостол. Апостол Козлик.

Языки, книжки, эпатаж, постоянное стремление придумать яркую обёртку для этого серого мира. Короче, юный фрик в отставке. Хотя, конечно, нельзя было верить всему, что он о себе понарасказывал. Задыхаясь, заикаясь, потрясая своей греческой кудрявой бородой, он всё болтал и болтал, и часто сам смеялся над своими историями – и было в его смехе что-то нездоровое. Но, честно говоря, какая разница, правдой были эти рассказы и байки или нет. Козлик сказал, что всё это уже в прошлом. «Я столько пережил в молодости, вы себе не представляете». Хе-хе. Ну да, в девятнадцать лет конечно же особенно остро чувствуешь свою старость.

Я слушал и кивал. Всё это звучало хорошо, но важно было только одно: он всерьёз увлекся бальбутой. На прощание я пообещал прислать ему материалы (да какие там материалы, один несчастный файл). Он был очень возбуждён и долго жал мне руку.

Я всегда верил в сумасшедших. Наверно, это и есть то, что ещё удерживает меня на свете, единственный факт, с самого детства доводящий меня до священного трепета: в каждой человеческой общности, в каждой стае, каждом коллективе, песочницей он зовется или больничной палатой, школьным классом или казармой, пассажирским автобусом или пионерским отрядом, командой или бандой, городом или нацией, толпой или патриархальным кланом, – так вот, в каждой такой общности всегда найдутся те, кто всё будет делать не так. Или хотя бы что-то.

Но не так, не так, не так.

Лепить не те замки не из того песка. Дружить не с теми, некстати и не вовремя. Читать не те книжки не на том языке. Выбирать бесполезное даже там, где польза может спасти тебе жизнь. Между счастьем и несчастьем выбирать игольное ушко в нижней части мягкого знака. Выворачивать себя наизнанку, исследовать Великое Княжество Грязи, засовывать пальцы в розетку (ведь они туда не помещаются, правда?). Гоняться за неуловимым, нечитаемым, некликабельным, нефотогеничным, нетипичным, бесперспективным, безнадёжным, саморазрушительным, невыгодным, несолидным и ничего не стоящим.

Оглянитесь. Вокруг вас люди. Что поделаешь. Так уж вышло. Вы к этому привыкли. И вроде всё как всегда. Да, люди. Но! Хотя бы один из них обязательно будет сумасшедшим. Пусть пока что тихим, незаметным. Пока что он занят собственным носом где-то в уголке. Вы не замечаете его, вы думаете, вы один такой особенный. Ерунда. Вокруг есть другая, таинственная жизнь. В тёмных щелях между явью и сном вещей, в страшных ящиках своих черепушек, просто посреди этого обманчивого мира сидят они, ненормальные. Которые, может, совсем не считают себя ненормальными. Но что-то подозревают о себе и не очень-то жаждут, чтобы их вытаскивали на свет. И они поненормальнее вас будут, так что гордость ваша – курам на смех...

Размышляя об этом, я доехал до своего дома с мемориальной доской и только тогда взглянул на часы.

Вот блин. С минуты на минуту должна была прийти Верочка. Она разозлится, если не застанет меня дома.

Я стремглав взлетел по лестнице и в темноте схватился за ручку двери.

Ключ тыкался, ища лазейку, но не находил. Только скользил по искусственной коже, которой когда-то обили эту дверь-деревяшку. Деревяшку, за которой таилось моё убогое жильё.

Блин.

Какая-то глупая деревяшка, одетая в кожу, не пускала меня домой. Всего лишь одна тонкая деревяшка отделяла меня от моего убежища, а я не мог с ней справиться. Верочка придёт, а меня нет.

Возможно, у меня слишком дрожали руки. А может, дверь просто не хотела меня впускать. Может, я здесь уже не жил. Может, встретившись с Козликом, я автоматически лишился крова. Могло быть и так. Ведь Козлик был моей изменой, моим самым страшным предательством. Об этом я как-то не подумал.

Я пальцами начал нащупывать замок. Пальцы находили отверстие, а ключ – нет. Будто замочную скважину кто-то от меня прятал. Такого со мной ещё не случалось.

А Верочка была уже близко. Я прислонился к стене, сжал кулаки и выдохнул. Выдохнул осторожно, боясь, что вместе со своим страхом могу выдохнуть и Козлика, и этот вечер, и всё то, что сегодня добыл, да ещё таким чудесным образом. Одним махом обрёл, одним выдохом потерял. Такое бывает.

Лёгкий, как бумага, я дрожал в темноте подъезда, и сквозняки, пробравшись сквозь разбитые окна, уже обнюхивали меня.

Нужно было сделать ещё одну попытку.

Где-то внизу грохнули двери. Но было ясно, что это не соседи, нет, слишком уж темно стало у меня на душе. И пальцы на ногах склеило, словно плёнкой, как всегда перед её приходом.

И душно. Так душно, что хотелось выбежать на улицу. Я широко раскрыл рот и расстегнул куртку, чтобы поймать сквозняк, но он был горячий, сухой, будто не весенний сырой город лежал вокруг этого дома с мемориальной доской, а пустыня.

Шагов на лестнице слышно не было. И всё же она поднималась.

Подвывая, я встал на колени, упёрся носом в дверь и снова начал искать замочную скважину. Пол подо мной вдруг захрустел. Под ногами появилась какая-то пустота. Я схватился за ручку двери и – попал.

Ключ повернулся как ни в чём не бывало.

Я заскочил в квартиру, чувствуя, как лестничная площадка уходит у меня из-под ног, и как был, в сапогах, бросился на кровать, накрылся с головой одеялом. Я верил, что смогу её обмануть.

Например, притвориться пьяным. Она уже видела меня пьяным.

И, как только я затих под своим давно не стираным пледом, обеими руками обхватив своё одеревеневшее вдруг тело, она вошла.

Она никогда не подходила ко мне сразу. Нет, она долго снимала обувь, вешала пальто, шла в ванную – я слышал, как скрипят двери. Я достаточно долго прожил в этой квартире, чтобы изучить все её голоса. И даже через толщу пледа, за которым я прятался, словно зарытый в землю, я слышал, как она напевает. Тихо, под нос. Я знал, что никакого носа у Верочки нет, но такую уж слабость имеем мы, приматы: превращать свои страхи в примитивные образы. Делать всё приматоподобным. Бога. Язык. Ужас. Смерть.

«Попробуй спеть вместе со мной, – нежно и деловито напевала Верочка, намыливая руки. Тонкий несуществующий поток воды разбивался о дно ванны. Словно она танцевала вокруг мертвого фонтана. – Вставай рядом со мной...»

Песню я знал. Но напевала Верочка её совсем не так, как она должна звучать. Это был голос сладкий и грустный, песня напоминала скорее колыбельную, её нарушенная гармония всё повторялась и повторялась.

Под одеялом становилось всё жарче. Вот где они свили себе гнездо, эти обманчивые пустынные сквозняки. Мне словно всё время кто-то дышал в лицо. Я понимал, что долго не выдержу.

«Попробуй, – уже не пела, а просто пофыркивала Верочка в коридоре. – Спеть... Вместе... Вставай...»

На кухне загремела посуда.

Мне хотелось сбросить плед. Я задышался. Я знал, что скоро это закончится. Когда-то, когда я ещё следил за своими зубами, таким было ожидание в кресле дантиста – боль, боль, боль – и передышка, и снова боль, но понимание того, что она закончится, что я всё равно буду дома, не давало отчаянию разыгаться по-настоящему. Зубы... зубы, их уже почти нет, у неандертальцев их было сорок четыре, как чижей у Хармса, а сейчас они числом тридцать два, tronki donk, тронки донк, тронки донк, апельсинчики как мёд, в колокол Сент-Клемент бьёт.

Так было каждый раз.

Почему же сейчас так тяжело?

Неужели и правда виной всему Козлик? И теперь она мстит мне. Мстит за измену.

Я же не опоздал, Верочка. Я был на месте. Я просто немножко выпил и заснул. С кем? Да ни с кем, Верочка. Как всегда, один. Разве мы не договаривались? Я верен тебе, Верочка. Тебе одной.

Она гремит посудой, как пыточными инструментами.

Она включает микроволновую печь.

И счётчик, старый счётчик у дверей, эбонитово-чёрный, блестящий, начинает вращаться, пробки гудят, колечко ездит: вот-вот польётся из счётчика то ли марш, то ли джаз, то ли вальс.

Верочка хочет потанцевать.

Она идёт сюда.

Скоро всё это закончится. Оно всегда заканчивается.

И тогда я начинаю молиться. Пытаюсь представить себе лицо Козлика и молюсь.

На бальбуте. Я уже не знаю других языков.

«Bruta mau, tau istuzu u autima, tau balbuta svetuzu bu, tau stuta aiduzu bu, tau fuzu ujma sau aluzu u tutima da autima, du nau kusutima rusoje dinuti...»

Молитва примата.

Верочка подходит к кровати. «Попробуй... Вставай». Верочка опускается рядом. Я чувствую, как бьётся её сердце, как она дышит, я вжимаюсь глубже в продавленную кровать, и ноги мои в прогнившей обуви так жгуче смердят, и плед, в который я выдохнул столько страха, начинает шевелиться.

И тогда я молюсь уже по-другому.

«Amiluta o istoje, o istuta amiluta,

Amiluta o intruta, o intruta amiluta,

Amiluta o aluta amiloje tau istuzu...»

Леннон, спасай. Леннон, приди. Тридцать два зуба, тридцать две минуты, сорок четыре весёлых чижа. Love is free, free is love. Может, это и есть ответ, может, поэтому я и придумал бальбуту – чтобы на ней молиться?

Она перестала напевать. Мне показалось, она плачет.

Но я тебя не люблю, Верочка. Как сказать ей, что я её не люблю. Как сказать, что не любишь, на языке приматов?

Плед полез к ногам, в лицо пахнуло духами, плёнка между пальцев напряглась, натянута, щёлкнул выключатель. Только счётчик всё потрескивал в тишине квартиры.

То ли вальс, то ли марш, то ли джаз.

Как всегда, ночью я проснулся, чувствуя во всём теле приятную лёгкость. Она простила меня – а может, ничего не заметила. Всё было как всегда. Плед лежал на полу. Я был разут, а ботинки стояли в прихожей, сдвинув морды. Верочка уже ушла в свою ночную смену, а я отправился на кухню, налил себе выпить, стал у окна. Люди спали, этажами вповалку, один

на другом. Чёрт возьми. Чего я боялся? Я был ещё не стар и достаточно здоров, у меня была съёмная квартира в доме с мемориальной доской, флэшка с созданным мной языком, спрятанная в надёжном месте, и свой собственный Козлик где-то в микрорайоне неподалёку. На столе лежали деньги, холодильник был снова наполовину полон, а в ванной капала вода. Я прекрасно выспался и знал, что мне ничего не угрожает.

Я сел за ноутбук и сразу же нашёл в почте письмо от Козлика. Не прошло и восьми часов, как мы расстались, а он уже нетерпеливо писал, что так и не получил материала с правилами и словарём бальбуты, и просил прощения за то, что меня обидел. Я отправил ему всё, что нужно, и добавил несколько слов. А потом откинулся в кресле, подумал, улыбнулся и написал сверху по-белорусски:

«Дорогой Козлик!»

Я чувствовал, что это его удивит – но я знал, точно знал, что на прозвище он не обидится. Он уже был очарован моим языком. И его Богом, который взялся наконец за свои прямые обязанности – учить и давать людям закон.

Уже утром, попивая кофе, я получил от него новое письмо. На этот раз – полностью написанное на бальбуте. Я и сейчас помню, что там, в переводе на белорусский оно звучало примерно так:

«Это невероятно, но я так и не смог заснуть. Всю ночь просидел за вашей книгой. Это как оказаться на полном чудес острове – только на первый взгляд он маленький, необитаемый, невидимый, на самом же деле – космос. Спасибо. Кажется, я сегодня уже не смогу говорить и думать ни на каком другом языке. Все вопросы, которые у меня появились, надеюсь озвучить при встрече. Буду рад, если вы подарите мне право на одно слово. Понимаю, что его надо заслужить, это право, но если в словаре бальбуты появится хоть что-то, созданное мной, вы (помните Стрельцова?) «увидите счастливого человека».

Ваш К.»

## 6.

Чуть ли не каждый день мы обменивались с Козликом короткими посланиями, а недели через две договорились встретиться снова – и как ни странно, я ждал этого момента с таким нетерпением, что мне даже было стыдно. Возможно, мой стыд и стал причиной того, что я отнёсся к нему настороженно, и он сразу же почувствовал мою сдержанность. Бедный Козлик, он только вздохнул, улыбнулся и сделал вид, что ничего не замечает.

На этот раз мы снова условились увидеться за столиками возле «Щедрого» – и почему меня так туда тянуло, не понимаю. «У вас свободно?» – спросил кто-то над моей головой. «Занята-то», – проворчал я и положил на пластиковый стул свой пиджак. Надо было что-то взять, пиво или колу, но столик за это время мог кто-нибудь присвоить. Я сидел под зонтиком и смотрел, как у памятника Победы выстраивается почётный караул: девушки в форме, с пустыми глазами и огромными, как забинтованные опухоли, белыми бантами на затылках послушно лупили туфельками по плитке. Меня всегда поражал их торжественный выход на площадь, существовал какой-то дичайший контраст между тем, что было в их головах: шопинг, мобинг, петтинг, вконтактик, гитлерюгенд, близкие каникулы – и этими чудовищными белыми цветами, которые вживляли им в черепа пропитые, безобразные командиры. Хлопцы выглядели не так занятно – парням форма всегда к лицу.

Козлик немного опоздал. На этот раз он был на велосипеде. И это вызывало во мне странное раздражение. Улыбаясь сквозь свою слишком большую бороду, которая совсем не шла его мелковатому лицу, он прицепил велосипед и сел напротив, нежно повесив мой пиджак на спинку стула.

Я думал, мы сразу начнём на бальбуте, но он упрямо говорил только по-белорусски.

«Велосипед, – сказал он, словно что-то вспомнив. – Когда я к вам ехал, то всё думал, как его назвать по-нашему».

«И что надумал?» – спросил я как-то слишком высокомерно.

«Ну, например... Не, я боюсь, – сказал он с улыбкой. – Это вам решать. Хотя слово уже, видимо, давно существует».

Не глядя на него, я бросил:

«По-моему, всё ясно. Olodonkuta».

Он кивнул.

«Разве у тебя были другие варианты?»

«Конечно, – сказал он. – Я подумал, donkolouta. А ещё лучше donkolo. Хотя это и немного против правил. Mau donkolo bloje da ujma».

«Olodonkuta, – сказал я, уставившись ему на этот раз прямо в глаза. – И только так».

Он снова кивнул.

«Пойду закажу что-нибудь. Вам взять пиво?»

«Лучше давай деньги и посиди здесь».

Я взял ему пива, а себе сто грамм водки в пластиковом стаканчике и сок. Мне не терпелось начать разговор на бальбуте, но, если честно, я тоже боялся. Боялся, что у нас ничего не выйдет. Водка была хорошим выходом, главное – не переборщить. Я вышел из «Щедрого» (кондиционер у них – просто зверь), сел, сделал глоток и поморщился.

Козлик улыбался и всё время жмурился – то ли от солнца, то ли от моего жадного взгляда.

И тогда мы заговорили. Так, как я и хотел.

Это оказалось не так уж легко. Бальбута даёт своим носителям много свободы – а свобода, как известно, ярмо тяжкое. Двигаясь, словно в тумане, навстречу друг другу, мы вели разговор на ощупь, натываясь то на плечо, то на спину, то на вытянутую руку, – но нам редко когда удавалось взглянуть друг другу в лицо. Станный выходил разговор. Козлик часто останавливался, подбирая слова, – да и я всё время чувствовал свою неопытность в устной беседе: люди мы с ним были непростые и любили говорить сложно, нам надо было постоянно строить в голове причудливые конструкции; не факт, что собеседник мог молниеносно их оценить и понять. Подсознательно мы, конечно, стремились к упрощению каждой фразы – или, может, это я стремился, а Козлик искренне старался воспользоваться всем разнообразием нового языка и говорил в полную силу. Тем не менее полчаса неспешной, осторожной болтовни на бальбуте да ещё мои двести граммов водки и пара бокалов пива сделали своё дело – коммуникация удавалась нам всё лучше. Да, мы запинаясь, мокли от напряжения и замолкали, мы рычали, мычали, стучали пальцами по столу, но всё же понимали друг друга – контакт был. Был контакт!

«Вы женаты?» – спросил неожиданно Козлик, когда мы замолчали, чтобы отдохнуть, и уставились на пробегающих мимо людей, чувствуя к ним лёгкую зависть. Уж что-что, но наши теперешние ощущения были им абсолютно незнакомы – ведь мы говорили на языке, который никто в мире не знал. Правда, люди об этом не догадывались. Им было значительно проще жить. Они казались нам такими лёгкими и беззаботными, словно райские птицы. Райские птицы в центре Минска.

«Вы женаты?» – повторил он, и снова на бальбуте.

Он применил для этого, на первый взгляд такого несложного, вопроса интересную форму: tau istuzu ne onk? То есть: ты живёшь не один? – спросил Козлик, и я сразу понял, что он имеет в виду. Конечно, можно было спросить: tau imatuzu kvinutima? – ты имеешь женщину? – однако Козлик постиг философскую сущность бальбуты: к любым претензиям на то, чтобы обладать кем-то живым, на то, чтобы считать себя чьим-то властелином, проводником чего-то, носителем истины в последней инстанции или расклейщиком ярлыков, бальбута относилась не очень дружелюбно. Поэтому просто: ты не один? – и это могло значить и брак, и дружбу, и сотрудничество, и состояние в эту самую секунду, и ничто ничему не противоречило.

Такой уж я придумал язык.

Патологически не способный на гнёт и унижение.

«Да, – ответил я, подумав. – Конечно я живу не один. Я живу с Верочкой».

Он странно встрепенулся, словно от холода.

«Верочка меня любит», – сказал я почему-то на этот раз по-белорусски.

И достал телефон, повертел в руках. Словно показать хотел Козлику, что не вру, что прямо сейчас эта штуkenция может позвонить и заговорить женским голосом.

Он кивнул.

«Хочу прокатиться на твоём велосипеде, – сказал я снова на бальбуте. – Ты не против?»

«Конечно нет», – он удивлённо поднялся, отцепил замок. Покорно дал мне в руки руль, словно я хотел его обезоружить. Глупый мальчик. Я закинул ногу, как собака около столба. Давно я так высоко не поднимал ноги. Аж что-то хрустнуло в позвоночнике.

И вот я уже мчался по проспекту, мимо флагов и людей, разрезая ветер. На полной скорости выехал на мост через Свислочь. Козлик остался где-то далеко, за столиком возле «Щедрого», и я был рад, что можно больше не смотреть на его маленькое, красное, влюблённое лицо.

Когда-то, в моем бумажном детстве, у меня конечно же был велосипед – тот самый советский «Аист», на котором все мы доехали до конца империи. Но я тогда жил в самом отдалённом микрорайоне и носился на велике только вокруг его бетонных гробов – или, в лучшем случае, через полуживой лес, на грязное озерцо, поплавать. Помню, помню: прямая и длинная улица Промышленная, где сплошной стеной стояли заводские корпуса, уходила за горизонт, а из лесочка шёл гнилой запах воды, там надо было поворачивать, слезать, топтать по загаженной тропе, толкая велосипед... Как давно это всё было. Я никогда ещё не видел центр города с велосипедного сиденья, никогда ещё не завоёвывал велосипедным рулём этих широких плакатных улиц, этого гордого тоталитарного пространства, этой пустоты настоящего города. Поэтому, вращая педали Козликовой машины, я чувствовал, что в моей жизни начался какой-то совершенно новый этап. Неизвестность была мне прямо в лицо. А в голове шумели деревья парка Янки Купалы, беспорядочно сцепленные слова бальбуты, животные голоса машин, пронзительный угловатый грохот минской архитектуры, каждая линия – нота, каждый угол – ритмичный удар в висок...

Я свернул в парк, сбросил скорость, доехал до памятника Купале и остановился.

Сел на скамейку, достал сигарету.

Намертво расставив ноги, Купала ожидал, что ему скажут: «Снято!» – но никто не спешил вызвать его тушу из этой неудобной позы.

Здесь были только мы: каменный человек и я. За спиной Лупаки купались голые девки. Но он не имел права повернуться.

«Снято», – сказал я вполголоса.

Он скосил глаза. Но не шевельнулся. Не я был здесь режиссёром. Едва намеченные скулы Купалы еле заметно напряглись.

«Turuta hitrutima, finita la commedia», – сказал я немного громче и улыбнулся.

А вот если Лупаку перевести на бальбуту.

Это тебе не Имре фон Штукар. И не Эзра Паунд.

Проще, конечно, это:

«Kau vou aiduzu, u ujma kvaj kopjutima?

Belarusutika».

А вот это уже труднее – но и изящнее:

«Mizoj liutima, mizoj sprugutikama

Mau Tutima belarusoje...»

Красивый я придумал язык. Печальный, протяжный, меланхоличный, как песня над болотами-пустынями.

Козлик нашёл меня только через час. Я издали заметил его растерянную фигуру, мелькающую среди парковых деревьев, она то и дело сливалась с зеленью – потому что и футболка на Козлике была зелёная, майская; он подошёл и сел рядом, вертя в руках велосипедный замок на резиновой колбасе.

«Верочка звонила», – соврал я. И стоило мне произнести её имя, будто бы щёлкнуло что-то под лавкой – и всё вокруг: деревья, и каменный человек на постаменте, и даже голые купальщицы, и шапка Госцирка за забором с вазами, все будто придвинулись поближе и наострили уши. Я отогнал от глаз какую-то насекомую мелочь и сказал вполголоса на бальбуге:

«Хочешь, расскажу, как мы познакомились?»

Козлик опять кивнул. По-моему, он хотел от меня всего и сразу – и чем больше, тем лучше. И я, не повышая голоса, заговорил. Слова вылетали словно сами собой, я сам удивился, как складно у меня выходит. Как на бумаге. Будто бальбуга была моим родным языком.

«Однажды я понял, что проиграл. Несколько лет назад, вечером, когда не было ещё ни этих столиков возле «Щедрого», ни бальбуги, ни Верочки, я ясно осознал, что последние двадцать лет моей жизни были Эпохой Поражения. Да, я называю это Эпохой – ведь моя жизнь до того момента была просто некой историей, и она шла за Большой Историей и отражалась в ней, и Большая История руководила и направляла, а моя путалась под ногами. А теперь Большая История оказалась далеко впереди, а я остался там, где был. Сначала я оправдывался, что это не моя вина, что меня что-то удерживает, хватает за рукав: привычки, здоровье, время, обстоятельства. Но теперь я понимаю, что просто – проиграл.

Двадцать лет подряд я только и делал, что терпел поражение за поражением. Мне было примерно как тебе теперь, мой Козлик, когда свершилось первое поражение, – и я не обратил на него внимания. Сначала я поступил на филфак – но так и не стал никем, просто человеком с дипломом. Белый словарь из моего бумажного детства говорил, что будущее тоже белое и стоит только захотеть, и можно чего-то достичь, все дороги открыты. Врал он всё. Врать детям – это же так просто, и за это ничего не будет, правда? Я писал стихи – но их никто так и не прочитал. Те люди, которым я их показывал, хвалили меня и называли многообещающим – и что из этого вышло? Ничего. Никто не сказал мне: давай издадим книгу, никто не написал обо мне ни строчки, никто не попытался даже понять, что я хочу сказать. Никто даже не назвал меня бездарью. Просто – молчание. Тишина. Ничто и ничего. Пиши, сказали мне. А не хочешь, не пиши. Я работал над собой. Я относился к себе критически. Я прочитал столько умных книг, я превратил их все в гранит, из них можно было сделать несколько вот таких каменных истуканов. Я верил в знания. Я боролся с амбициями и верил, что терпение и труд всё перетрут. Результат был нулевой. С таким же успехом я мог ничего не читать, считать себя гением и лениво поплёвывать на остальных. Ни от таланта, ни от амбиций, ни от самокритики, ни от знакомств, ни от трудолюбия, ни от целеустремлённости ничего не зависит, Козлик. Вообще ничего ни от чего не зависит и никому на свете ничего никогда ни от кого не нужно. Вот то главное, что я понял. К сожалению, слишком поздно.

Я не сделал ни одного величественного или значительного поступка. Вообще ничего не сделал. Я женился и через год развёлся. Я боялся идти в армию, я был пацифист и анархист в душе, но всё равно пошёл. Я менял работы, но с каждой уходил – не потому, что меня выгоняли, не потому, что я был неудобный, колючий, слишком вольнолюбивый, не потому, что делал что-то, что не нравилось начальству. Нет: просто фирма закрывалась, и я оставался без гроша в кармане. Я брался за всё на свете, и, стоило мне взяться, это всё сразу же заканчивалось. Я попытался быть подхалимом, продажной сволочью, тихим и незаметным конформистом – но и это не подействовало. Ничего не изменилось. Мне не стало ни легче, ни проще, ни, наоборот, труднее – ни страданий, ни разочарования, ни желания что-то доказать. Даже смириться я не мог – ведь не было с чем смириться. Представь себе, Козлик.

Когда я был подростком, то мечтал о том, что изменю мир и заставлю о себе говорить. Когда мне было тридцать пять, я наконец-то внимательно взглянул на себя: я был таким незаметным, что о моём существовании никто не догадывался, кроме родителей. Я почувствовал, что могу кого-нибудь убить – и всё равно ничего не изменится. Мне ничего не было интересно и ничего не волновало. Какое-то время я мечтал, что однажды выйду к резиденции нашего главного победителя, выйду босиком, весь в белом, и подожгу себя. Может, тогда Эпоха Поражения закончилась бы. Но я не решился. Конечно не решился. Трус. Ноль. Никто. В тот момент, когда я твердо решил совершить этот подвиг, я уже знал, что никогда в жизни ничего такого не сделаю.

Постепенно я оказался совсем без денег, без работы, без дома. Жил у родителей, ел то, что готовила мать, брал у отца деньги и бесцельно бродил по городу. Был дождливый вечер, я искал бар, где можно дёшево выпить и закусить. У меня заканчивались сигареты. Впереди вдруг появились двери какой-то забегаловки. Я удивился: раньше её здесь не было. Но в городе много чего пооткрывалось в то время, я вошёл, это было совсем маленькое помещение, пара мужчин, пара женщин, запах жирных беляшей. Я взял «Беловежской» и чай без сахара. И сигарет. Самых дешёвых. Я стоял, пытаюсь подольше растянуть свою убогую пластиковую рюмку, а потом почему-то взял и выпил её всю залпом. Пришуриваясь, отрыгнул. Схватил чай, обжёг гортань, губы, он не хотел остывать, этот мой безвкусный, бессмысленный чай. Так Эпоха Поражения оставляет за собой следы. А ты терпи. Меня чуть не стошнило. И «Беловежская» в последнее время совсем испортилась. Некогда это был напиток богов – а теперь хер его знает, что они туда добавляют. На вкус как краска.

И тогда я опустил глаза и увидел рядом с собой ножницы.

Ножницы и стопку бумаги. Они лежали на стойке передо мной. Ещё мгновение назад их не было. Прямо передо мной лежали ножницы и бумага, и я не знал, откуда они взялись. Я взял ножницы и оглянулся.

Из бара как раз вышла какая-то женщина. Мне казалось, что, выходя, она бросила на меня быстрый взгляд. Я бросился за ней под дождь. Она убегала, низко надвинув зонтик. Она была без каблучков, и всё же догнать её было непросто – почему-то я чувствовал в ногах слабость. Колени не слушались, а где-то внизу живота появилось очень приятное ощущение. Там, внизу живота, другой я, настоящий я, уже знал, что делать. Конечно проиграть. Это же Эпоха Поражения. Ещё одна неудача. Я просто не смог её догнать. Чисто спортивное поражение. Мышцы против мышц. Не вышло. Кто меня за это осудит?

Я спрятал ножницы в карман, сунул бумагу в рюкзак и поехал домой. Уже поднимаясь в лифте, я почувствовал: что-то не так. Мать плакала. Отец сообщил, что моя бабушка умерла. Я не знал, что ему сказать.

Через несколько недель я получил кучу денег. Бабушкину хату в частном секторе продали, и у меня на руках было пять тысяч долларов.

А вечером мне позвонили с незнакомого номера и предложили снять квартиру. Назвали адрес и положили трубку. Нет, я не стал перезванивать, я не отнёсся к этому как к шутке, я не попытался выбросить это из головы. Мы же не такие, правда, мой Козлик? Я видел связь между ножницами и этим звонком. Мы ведь сумасшедшие, Козлик. И наше безумие лёгкое, как бумага. Там, где другие видят угрозу, – мы видим чудо.

На другой день я поехал по указанному адресу. На доме была мемориальная доска в честь какого-то партюкрата. Я до сих пор не могу запомнить, как его звали. Домофон не работал, дверь подъезда была распахнута. Я постоял немного, наблюдая за тем, как из подъезда выходят люди. Обычные люди с вечным подозрением в глазах, люди, у которых есть проблемы, и эти проблемы никуда не денутся. Я поднялся на третий этаж, нашёл дверь без номера, это была та квартира, адрес которой мне сказали по телефону. В замке торчал ключ. Я повернул его и вошёл. Внутри было убого, но для меня вполне приемлемо. Я посидел за столом, глядя в

окно. У дверей потрескивал счётчик, старый, советский ещё. Блестящая чёрная африканская маска с пробками вместо глаз. Я разделся, лёг на кровать, заснул, а потом пришла Верочка, и всё стало как сейчас.

Понимаешь, Козлик, я не хочу думать о том, что произошло. Я знаю, что главное – не искать никаких объяснений. Я только пошутить могу насчёт какой-то небесной службы социальной помощи, которая выделяет ежегодно стипендии для тех, кто, как я, проиграл. Чтобы мы не подошли с голоду. Там, наверху, сейчас, видно, социал-демократы у власти. Или вообще коммунисты. А завтра всё может быть по-другому. Я хочу, чтобы они там, наверху, обо мне забыли. Я знаю, что если начну искать, в чём причина, всё может закончиться. А может, и нет. Ничего ни от чего не зависит, Козлик. Всё просто или так, или иначе, нет никаких причинно-следственных связей. Я живу как живу, потихоньку трачу деньги, которые получил после бабушкиной смерти, и ничего не хочу загадывать наперёд. Я понимаю, что Верочка от меня чего-то ждёт. Может, того, что я отремонтирую квартиру. Или что пойду на работу. Или вложу деньги в какой-то бизнес. Но их уже мало. Какой там бизнес... А может, она ждёт, что я ничего не буду делать. Может, ей именно этого хочется. Я не знаю. Теперь я думаю, что всё это: поражение за поражением, страх, амбиции, борьба за то, чтобы выживать, меняться, приспособливаться, мысли о саможжении и вся прочая фигня...»

Фигня – это я, конечно, не переводил. Так и сказал: фигня. Посреди гармоничного бальбутианского мяуканья и уютного потрескивания её согласных «фигня» прозвучала такой какофонией, что Козлик аж вздрогнул.

«...вся прочая фигня – всё это было для того, чтобы однажды вечером я заварил себе кофе, сел за стол и придумал бальбуту».

Он нежно посмотрел на меня. Так нежно и так сочувственно, как сын смотрит в глаза больному отцу.

«Вот как бывает: сначала вырезаешь фигурки из бумаги и населяешь ими империи, от плитуса до плитуса. Потом сам, как скомканная фигурка, валяешься на чужих коврах. Мечтаешь, горишь, остываешь, гаснешь, таешь, рассыпаешься. Выясняется, всё, на что ты способен, всё, для чего это было, весь смысл твоей предыдущей жизни – это выдумать несуществующий язык для тебя и какого-то мальчика-фрика, язык, о котором лучше никому не рассказывать, а особенно тем, с кем живешь, особенно самым родным. Что, так и выглядит смысл жизни?»

Так стоило ли надрываться? Стоило ли так мучиться и мечтать? Зачем были эти двадцать лет? И зачем я тебе всё это сейчас рассказал, пацан? Зачем я тебе в этом всё признался?

А, Козлик?»

Я посмотрел ему в лицо, нащупывая в кармане сигареты. Козлик улыбнулся виновато и вытянул перед собой ноги в коротких шортах, голые, короткие, натренированные.

«Простите, но... я почти ничего не понял. Видно, долго мне ещё учить бальбуту... Тяжеловато вот так, на слух... Особенно если так быстро говорят, как вы».

Я положил руку ему на пушистое колено. Мне было страшновато, стыдно, да и низ живота снова заныл. И всё же я высказался – давно я не говорил ни с кем так искренне. Вокруг и правда всё понемногу успокоилось. Тени ушли далеко, к ступенькам, ведущим на проспект, в траве прыгали белки: враки, враки, враки, вот Верочка услышит, вот уж она с работы вернётся, вот уж тебя раком поставит... Брысь. Город отодвинулся от моего лица, шапка Госцирка сбилась на лоб вечерней толпе, и в фонтане с голыми девушками снова зашумела вода. Бронзовый Лупака судорожно сглотнул и выставил вперёд мягкий подбородок. И всё же что-то было не так. Будто Верочка и правда слышала, что я здесь наговорил. Но она простит. Просто я слишком много выпил. Или слишком мало. Она простит.

Вдруг я почувствовал, что Верочка где-то близко. Убрал руку с колена Козлика и достал телефон. Многозначительно так достал, с намёком. И отодвинулся от Козлика, на какой-то сантиметр, но отстранился. Так, чтобы он тоже что-то почувствовал. Но тот был на своей волне.

«Я мало что понял, – повторил Козлик, мечтательно улыбаясь. – Но это было красиво. Как музыка. Я думаю... Я хотел бы услышать ваш рассказ снова. Напишите мне сегодня письмо. Хорошо?»

## 7.

Конечно я ему написал. Как всегда, ночью. Написал, чтобы он не принимал близко к сердцу то, что я ему понарасказывал, что я просто выпил лишнего, а алкоголь на меня как-то неправильно действует. На бальбуге мое письмо выглядело дико: как выяснилось, этот язык не очень уверенно себя чувствует, если речь идёт об оправданиях. Постоянно приходится скрывать простые слова за сложными описаниями того, что хочешь сказать, и в результате любое выражение выглядит как многословный, витиеватый обман. Вот и скажи после этого, что бальбуга – примитивный организм. Скажи давай. И хотя никто мне ничего такого пока что не говорил, я неистово ввязался в спор с этим никем. Бальбуга разматывалась, как пружина, – уже почти без моего участия.

Впрочем, я не для этого её создавал, не для оправданий – просто лучше вообще не создавать таких ситуаций, убеждал я себя. Надо жить так, как подсказывает бальбуга, а не наоборот. Идти за языком, чтобы он вывел к простоте и искренности. А не тянуть его в свои лопуховые заросли.

Конечно я написал Козлику. А потом написал ему ещё и ещё. Он отвечал практически сразу же – такое ощущение, что он теперь только тем в жизни и занимался, что ждал моих сообщений и, едва получив, бросался писать мне ответы. Как-то мы снова встретились и долго гуляли возле Белой Вежи, обсуждая нашу бальбугу и прикладывая её к самым разным вещам и явлениям, обсуждая её такой простой и одновременно такой сложный словарь. Иногда мы смеялись, разыгрывая сценки: например, визит бальбуганина в районную поликлинику, или переводили речь нашего всенародно избранного «пересидента», посвящённую Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Иногда останавливались и взволнованно читали друг другу стихи на бальбуге – переводы любимых поэтов. Иногда притворялись туристами из Бальбути, заходили в полупустой магазин и начинали прицениваться к каким-нибудь соломенным зверям, болтая по-своему. Нам верили. Неизменно верили. Терпеливо объясняли, мучительно вспоминали английский, оказывали знаки внимания и почёта – и никто так и не спросил, откуда мы такие приехали. Легковерные *belarusutika*, как же мало вы знаете о мире, о тех, кто живёт среди вас, и какое же болезненное уважение питаете ко всему чужому.

Лето прошло, выгорело, выкипело, пробулькало в такой вот бальбуге, этим стремительным летом Козлик впервые никуда не поехал. Мы так и просидели три месяца в городе, приучая его к звукам нашего языка. С красной строки началась осень – и вот однажды в сентябре мы с Козликом пошли гулять по проспекту, восторженно рассуждая о нашем словаре. Корни бальбути, связанные между собой множеством удивительных комбинаций, давали нам такое пространство для деятельности, что мы решили разделить нашу работу и спроектировать её на несколько лет. Козлик брал на себя разработку лексики медицинской, транспортной, юридической, сельскохозяйственной, экономической и спортивной. Я – лингвистику, историю, политику, кулинарию, СМИ и искусство. Литературу никто из нас не хотел уступать – и мы решили заниматься ею вместе. Перед нами открывались такие перспективы, такие бескрайние поля для экспериментов, что мы не обращали внимания на то, где мы сейчас находимся и кто мы вообще такие. Мы даже дорогу несколько раз на красный свет перешли, поступок для Минска неслыханный, но нам повезло, никто нас не остановил и никто не размазал по асфальту.

Возбуждённо размахивая руками, мы дошли до станции метро «Московская» и только там наконец немного успокоились и протрезвели. Съели по пирожку, сидя на бордюре, помолчали, потрясённые нашим замыслом. Понемногу разговор разгорелся снова – доставая языком мясо из зубов, я шёл вперёд, рождая на ходу новые слова бальбуты, и одновременно слушал Козлика, напевающего свой собственный лексикон. Так мы дошли до самого Борисовского тракта, пересекли кольцевую, спустились с горки...

«Кстати, я тут совсем близко живу», – сказал вдруг Козлик, словно мимоходом.

Я как раз позволил себе небольшую мечту: сейчас бы тетрадь общую, такую, как в детстве, школьную толстую тетрадку, так хочется всё придуманное записывать, что аж сил нет. Ноутбук я с собой не брал, не хотелось с ним таскаться. А с тетрадью посидеть в тени – самое то. И тут Козлик и произнёс эти слова, которые я совсем не ожидал от него услышать.

«Да, совсем близко, минут десять отсюда».

И подмигнул мне неумело, обоими глазами.

«Можем ко мне зайти, у меня чистых тетрадей хватает, мать приносит с работы. Посидим, пива попьём холодного».

Сам не знаю, почему я согласился. Почему дал ему повести меня за собой, в переход, а потом во двор, по дорожке, протоптанной среди одинаковых многоэтажек.

«А родители? Против не будут? Ты же с родителями живёшь?» – глухо спросил я, когда мы огибали огромный детский сад, проволочная ограда которого всё никак не заканчивалась. С той стороны ограды за нами следил сторож, а может, и дворник – рослый дед то ли с ломом, то ли с древком от лопаты.

«Они на работе, ещё же только четыре, а они в шесть заканчивают».

Козлик ловко переступал через кучи какого-то строительного щебня, а я едва перебирал ногами. Что-то неладное витало в воздухе, усталом, застоявшемся; во дворе, где мы шли, никак не могли завести машину – и шум двигателя звучал, как аплодисменты в большом концертном зале. Дворник перемещался вдоль забора, не отставая от нас, – я ускорил шаг, чтобы он наконец оказался за спиной, и Козлик удивлённо настиг меня возле подъезда.

«Не сюда», – мягко сказал он.

«Верочка!» – крикнул кто-то с балкона.

Мы нырнули в какую-то арку и вышли в очередной широкий двор.

«Здесь я и живу».

Мы поднялись на неизвестно какой этаж. Я совершенно не знал, что это за улица и как отсюда дойти до метро. Козлик открыл дверь, за которой была каморка с ещё четырьмя дверями. В каморке стоял тот самый велосипед. Olodonkuta. Козлик нагнул, дал мне тапки.

«Проходите».

Коридор наполнился запахом моего пота. Квартира шелестела занавесками, гардинками, жалюзи, уютное жильё семьи из трех человек. Чистенькая двухкомнатная хата с видом на школьный стадион. Козлик усадил меня на диван – упругий, застеленный чем-то таким приятным на ощупь, что я сразу же схватился за ткань и начал перебирать, щупать, крутить на пальце нитки бахромы. Словно втирался к дивану в доверие.

Козлик показал мне свои богатства. Те, что привёз из своих азиатских путешествий. Какие-то вонючие, все в отпечатках жирных пальцев, барабаны, вырванные из доисторических книг страницы с полустёртой вязью: видно же, что подделка... Какие-то ржавые ножи с причудливыми ручками, выцветшие фото неизвестных киноактрис с усиками над пухлыми губами...

Я без особого интереса разглядывал его сокровища. Он принёс пива, вопросительно показал на полки с книгами:

«Если вам интересно, берите, полистайте, могу что-нибудь дать почитать... Родителям всё равно это всё не нужно».

Я думал отказаться, но волю мою словно парализовало. Взял из его гладких, как колени, рук – да, читал, и ещё что-то взял – тоже читал. Конечно он похвастался Пиперски – «От эсперанто до дотракийского», у него она была на бумаге, эта заветная книжка, а я скачал её на Флибусте и читал с ноутбука – ну, ладно, книжка была действительно хорошая, хоть и оставила лёгкое разочарование, так как слишком быстро закончилась, мне было мало, а вообще, Пиперски как Пиперски.

«А по конлангам?»

«Конланги здесь». – Он наклонился, футболка задралась, выглянула задница, розовая щёлка. У него целая полка, самая нижняя, была вся о конлангах – на разных языках, но он честно признался, что половины ещё не прочитал:

«Я медленно читаю. И знаете, когда я начал учить бальбуту – ни о чём другом не могу думать».

Среди книг я заметил толстый альбом в шикарном переплёте, лениво потянулся к нему, Козлик сделал едва заметное движение, это было даже не движение, а какая-то мимолётная стрела возможной судороги, но я заметил – это моё желание вызвало в нём лёгкий протест. Он сделал над собой усилие, чтобы его не показать. Заинтригованный, я схватил книгу и разложил на коленях.

«Это родителей», – сказал Козлик недовольно.

Альбом был и правда шикарный. Порнография – да какая. На толстой и благородной бумаге, страница за страницей, одна и та же женщина занималась любовными утехами со своим псом – тонким и мускулистым догом, во всевозможных позах, в роскошной атмосфере аристократического дома начала двадцатого века. Причёска женщины постоянно менялась, поэтому я не сразу понял, что на всех рисунках изображена именно она: то вся в разбросанных по плечам светлых локонах, то с мальчишеской стрижкой, то вообще с выбритой головой, то надев викторианский парик она отдавалась этому догу с человеческими глазами, и только волосы у неё между ног оставались неизменными, они были выписаны тщательно и достаточно талантливо, и нарисованы были каждый раз так, чтобы зритель видел все подробности её раздвинутой волосатой и влажной вульвы. Я почувствовал, что возбуждился, под альбомом, что лежал у меня на коленях, выросло то, что не спишешь просто так со счетов. Мне сразу захотелось эту книгу – если спрятать её от Верочки, можно было бы дарить себе время от времени такие мгновения... Мгновения, которые можно было коллекционировать. Никакое порно в интернете не могло сравниться с тем, что я здесь увидел.

Я держал альбом на коленях меньше минуты, а у меня уже были в нём любимые картинки.

«Родители, я вижу, у тебя достаточно либеральные», – хрипло и как-то издевательски произнёс я, положив руки на альбом. Мне не хотелось, чтобы в моих словах была хотя бы тень насмешки, но что-то двусмысленное всё равно повисло в воздухе.

Бедный Козлик печально смотрел на лампу, торчащую прямо из стены над моей головой. По-видимому, здесь его родители вечером сидят и пьют чай. А может, вино. Культурные люди, родители культурного сына. Вырастет – успокоится. Главное – поменьше на него давить и ничего не запрещать.

«Если честно, это подарок от одной знакомой, – неохотно сказал Козлик, а руки его просили: отдайте. Большие руки. Не по Сеньке. Козлик ведь был мелкий. – Сам не знаю, почему я вам о родителях сказал. Они с этих полок не берут ничего. Они вообще книг не читают. Им неинтересно».

«Ясно, – я ещё сильнее прижал к себе альбом. – Кстати, знаешь, как на бальбуте: секс? Догадайся. Как будет секс на твоей бальбуте? Ну, Козлик, давай».

«Pajuta... Duzu pajuta... – сказал он нерешительно. – Duzuta pajutima. Красиво получилось, по-моему...»

«Хорошо, а грубее? – поспешно спросил я. – Грубый секс? Но хороший, страстный! Как ты скажешь?»

«Takuzu rajuta... Taku mau rajuta... – говорил он, и глаза его вдруг осветились каким-то мучительным огнём. – Strilo u prugoje. Чёрт. Вы и правда гений. Так музыкально и не... Неприлично... На самом деле будто картинку видишь...»

Довольный собой, я хищно улыбнулся. Я хотел его ещё немножко помучить. Но то, что выросло под разложенным альбомом, и не думало чахнуть. Я был напряжён и возбуждён – к счастью, Козлик не видел, как подёргивался под моими руками его тайный альбом.

«А теперь скажи: мастурбация... Ну, давай, это легко!» – меня забавляло, как он танцует передо мной, нащупывает слово своими неуклюжими пальцами.

«Sabaupajuta... Sabauduzuta rajutima...»

«Неинтересно, – кольнул я его. – Слишком просто. Фантазия, где фантазия, Козлик?»

«Irukuta rajutima», – сказал он и покрылся пятнами.

«Хорошо... – Я взял принесённое им пиво. – А если, например...»

«Я вам тетрадь принёс, может, запишем то, что я придумал?» – Козлик уселся рядом со мной. Так он сидит возле своего отца. В те вечера, когда вся семья в сборе и по телевизору идёт что-то интересное. О женских причёсках сто лет назад и о роли собак в парикмахерском искусстве.

«Да, давай». – Я так и не отдал ему альбом. И тогда он положил на открытую страницу свою руку.

«Вы, конечно, заметили... Здесь внизу стихи...»

«Стихи?»

И правда, увлечённый пикантными картинками, я даже внимания не обратил, что внизу каждой страницы симпатичным шрифтом старых парижских афиш были напечатаны короткие четверостишия.

«Это на каком языке?»

«Не знаю. – Козлик нетерпеливо пролистал пустую тетрадь. – И никто не знает. Их автор – на этих картинках. Эти стихи написала она, в 1901-м, описывая свои ощущения. На языке, который выдумала сама. Но никто так и не смог их прочитать. Франсуаза Дарлон. Так её звали. Загадочная была женщина. Я пытался расшифровать, несколько лет назад, но ничего не вышло. Я просто не могу нащупать никаких связей. И подсказок нет. Никакие методы не работают.»

«Кажется, я знаю, в чем дело, – сказал я, разглядывая надписи. – Эти слова не имеют смысла.»

Козлик посмотрел на меня с сомнением.

«Точнее, имеют, конечно. Если бы ты был женщиной и занимался тем, чем она на картинках, ты тоже мог бы написать что-нибудь подобное. Это язык её вульвы, которую ласкает собака. У тебя есть вульва? А клитор? А собака? Поэтому ты и не понимаешь. И я тоже. Если бы у нас была знакомая, которая... Возможно, она поняла бы, о чём писала эта Франсуаза Дарлон.»

Он наконец забрал у меня альбом и торопливо поставил его обратно.

«Такое объяснение... никогда не приходило мне в голову...» – пробормотал он, вздохнул, жадно отпил пива и с облегчением откинулся на спинку дивана.

Мы взяли его чистые общие тетради, схватили каждый по ручке и подозрительно посмотрели друг на друга. А потом начали писать, одновременно, как по команде. И всё же скоро я выдохся. Или сделал вид, что выдохся. Потому что пальцы на моих ногах, оставив сырые от пота тапки, уже давно ползали по ковру и глупые мысли поднимались пузырями вверх от пола этой чужой квартиры, охмуря мою бедную голову.

Вот тут я построил бы бумажный город. Здесь, в тени бамбуковой занавески, за которой начинается прихожая. А вот здесь, под креслами, была бы прекрасная пещера. Где можно было

бы разместить войска на случай нападения. С той стороны ковра трудно было бы оценить их многочисленность. А вот здесь, на изгибе дивана, был бы священный холм. И они приходили бы сюда молиться перед битвой, мои воины. Зелёный участок под торшером – это лес, куда я отправил бы своего главного героя. А там, где ковёр заканчивается и начинается гладь ламината, – там море... А у края ковра, где жёлтые полосы, я построил бы порт. И корабли, плывущие в кухню, добывать там золото, серебро, шёлк... Здесь, в этой стране, жили бы бумажные люди, здесь звучала бы бальбута, от края до края... Попросить бы у Козлика ножницы – и резать, резать бумагу, умножая народы, языки, обычаи, стремления, воплощая всё то, что когда-то не удалось, не вышло, всё то, в чём я дал маху...

Но нельзя. Надо гнать от себя дурные мысли – и оставаться по эту сторону границы.

Ну пожалуйста.

Совсем маленький компромисс.

«Спина болит, – процедил я, гримасничая. – Кто куда, а я на пол».

И, не дожидаясь реакции Козлика, я с наслаждением сполз на ковёр, лёг на него боком, подперев рукой голову. Ничего уже не замечая, я лежал и писал в общей тетради слова бальбуты, лежал и с наслаждением чувствовал, как рука начинает затекать. Я вдыхал запах ковра, спасённой им пыли, далёкий аромат средства для чистки ламината – я знал, что Козлик окажется рядом со мной быстрее, чем я заполню страницу.

И он сдался.

«Жарко». – Он вдруг сбросил футболку: худой, бледный и мелкий, как ребёнок – ребёнок с густой бородой и светлыми редкими волосами на груди, между которыми торчала большая родинка, да и не родинка даже, а целая ягода. Как третий сосок. Симметрия была ужасная – будто он сам эту родинку туда приклеил. Я не мог отвести от неё глаз. Хотелось её срезать.

«Жарко», – повторил Козлик и растянулся на полу рядом с мной, высунув язык.

«Есть ножницы?» – спросил я почему-то по-белорусски. Он удивлённо поднял глаза:

«Принести? Зачем?»

«Да нет, нет, ничего, – я снова перешёл на бальбуту. – Работаем».

Мы молча писали – и я видел, что Козлик занимается словарём уже безо всякого энтузиазма, что-то бродило в его голове, что-то пузырилось, наполняя эту молодую головку глупым газом, от которого глаза у Козлика сделались совсем стеклянные. Мы лежали на полу, совсем близко друг от друга, я в своей мятой рубашке и джинсах, босиком, – и Козлик в одних коротких шортах. Вдруг мне заложило уши. Видимо, я слишком резко опустил на ковёр. Опять у меня проблемы с давлением. Краем глаза я наблюдал за моим учеником и незаметно теребил пальцем ковровую траву. Две империи сошлись в чистом поле. Два войска, два властелина. Нужно провести границу и выставить стражу – и следить за руками Козлика, следить, иначе он может спрятать свои отряды где-то под диваном, над которым солнцем торчала лампа, лампа, под которой вечером, каждый вечер, каждый божий, дьявольский, недобрый вечер садится семья, маленький козлик, папа-козёл и мама-коза...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.